



ЮНОСТЬ



9 770132 203600

№1/2022

16+

1



ЮРИЙ
ЦВЕТКОВ,
СТР. 11

ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф
Мы в социальных сетях:
facebook.com/unost
vk.com/zhurnaliunost
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:
125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправок:
125047, Москва,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74,
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

Ильдар Абузяров
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Анна Гедьмин
Сергей Гловюк
Борис Евсеев
Тамара Жирмунская
Елена Исаева
Владимир Ностров
Нина Краснова
Татьяна Нузовлева
Евгений Лесин
Юрий Полянов
Георгий Пряхин
Елена Сазанович
Александр Соколов
Борис Тарасов
Елена Тахо-Годи
Игорь Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей Шаргунов
Вячеслав Ионовалов
Яна Нухлиева
Евгений Сафронов
Татьяна Соловьева
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР

Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАНЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА
Наталья Горяченнова
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Антон Шипицин
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Реданция не имеет
возможности вести
переписку с авторами.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут
ответственность
за достоверность
предоставленных
материалов.
Мнения автора
и редакции могут
не совпадать.
При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Юность»
обязательна

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3500 экз.
Формат: 60×84/8
Заназ №

«ЮНОСТЬ»
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки
рисунок
Екатерины Горбачевой
«Сияние»

ПОЭЗИЯ

6 ИВАН КУПРЕЯНОВ

11 ЮРИЙ ЦВЕТКОВ

ПРОЗА

16 ВАСИЛИЙ НАЦЕНТОВ
МЕЖДУ ИМАНДРОЙ И ЧОРРГОРОМ

19 ВАЛЕРИЯ КРУТОВА
ВСЕ ХОРОШО. НОЯБРЬ

22 ИРИНА ЖУКОВА
И
КОГДА ПРИДЕТ РЕКА

32 АЛЕКСАНДР ГРАНОВСКИЙ
АКВАРИУМ

38 ВЛАДИМИР КРЮКОВ
ТЕТРАДЬ У МУСОРНЫХ БАКОВ

49 КОНСТАНТИН КУПРИЯНОВ
СОЗДАНИЕ СПЕКТАКЛЯ

56 НАТАЛЬЯ ВОЛЬНЕЙ
КОСТЮМЧИК ДЛЯ ЖЕНЬКИ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

80 ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
ВМЕСТЕ С ЯВЬЮ

133 ПАВЕЛ ПОНОМАРЕВ
СОБЫТИЕ. ДНЕВНИК МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗОИЛ

146 ИВАН РОДИОНОВ
АНТИМАТЕРИЯ

150 ЕГОР ШЕРЕМЕТ
ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ УЖАС:
ТРИ ФИЛЬМА БЕНА РИВЕРСА

Юность №1
Январь 2022

ПОЭЗИЯ



ИВАН НУПРЕЯНОВ

Поэт, продюсер. Член Союза писателей Москвы и Союза журналистов Москвы. Родился в подмосковном городе Жуновском в 1986 году. Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана с красным дипломом, там же пять лет преподавал теоретическую механику. Автор трех поэтических сборников: «Априори» (2010), «Перед грозой» (2014), «Стихотворения 2010-х» (2020) и детской книги стихов «Мяв, Тяф и Чай» (2020). Лауреат премии «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига (2015), премии «Лицей» имени А.С. Пушкина (2021) в номинации «Поэзия». Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос». Основатель продюсерского центра для поэтов «Маян». Автор (совместно с Эдуардом Бояновым) серии поэтических спонтанлей «Сезон стихов» во МХАТе имени М. Горького. Соучредитель АНО «Созидательный Вектор». Редакционный директор сайта «Современная литература», колумнист «Литературной газеты», ведущий рубрики «Поэзия NEXT» портала «Ревизор.ру». Стихи Нупреянова публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и других печатных и сетевых изданиях.

* * *

Карлсон умер. Сегодня хороним.
 Озорной человек-вертолет.
 Карлсон умер, какая ирония:
 тот, который на крыше – живет.
 Собирать только близких решили.
 Вот оградка литая, за ней
 малыши необычно большие
 из обычных нешведских семей.
 Им знакомы подагра, виагра,
 и вершины – и самое дно.
 С телефона поставили Вагнера –
 неуместно, нелепо, смешно.
 Говорят говорящие плохо
 про «народная память жива»,
 про «закончилась эта эпоха»
 и другие такие слова.
 Как ташил – удивительно! – столько
 неизбывную радость свою
 в опустевшем, как жизнь алкоголика,
 подмосковном осеннем раю.
 Вот на кнопку на пузе героя
 уж нажали и горькую пьем.
 И пропеллер, как бур Метростроя,
 начинает входить в глинозем...
 Самолет в небесах над погостом
 тянет белую-белую нить.
 Да. Спокойствие, только спокойствие,
 как любил кое-кто говорить.

* * *

Мы любили друг друга
на бетонных ступенях мира,
на заросших кустами балконах
пустой империи,
изучали друг друга,
аккорды шнурков и молний,
познавали под черным солнцем
железный запах.
И шуршали,
срываясь в пропасть,
живые камни,
и вокруг плотоядно скалились
злые листья.
И бежали, щитками хлопая,
бронтозавры,
отголоски незавершенных
родительских миссий.
Это потом
из нас вылупятся
либералы и патриоты,
бизнесмены и биполярники,
мученики эмиграции,
андроиды госзаказа,
это потом –
мужчины в черном,
женщины в золотом.
А пока –
ненасытный дракон
с многопользовательским хребтом,
стометровый атом,
пейзаж, сотворенный ртом,
и прозрачный Моцарт –
молотом, долотом.
Только Бог и ветер.
А пакость – потом, потом.

* * *

Алло, алло... по всей Земле... алло...
Алло по всей Земле, во все пределы...
Как ждут письма, мы ждали НЛО:
оно было, но к нам не долетело.
Как старый хрыч с любовницей в СВ –
вот так страну. Урывисто и наспех.
А мы чего? Мы дети НТВ.
Кому скажи сейчас – поднимут на смех.
А ведь смешно по большей части тем,
кто слов не ест этически скоромных.
Но комиссар наденет пыльный шлем
и этой контре все еще припомнит.
Мы те, кто рос в податливой плоти
больной страны. Как демон, в самом деле.
Мы те, кто рос, когда нельзя расти, –
мы злой народ. А вы чего хотели?
Наш Бог мелькнул, заплакал и исчез.
Шел год Степана. Или все же Хрюна?
Мело, как в той кассете VHS...
Арракис... Дюна...

* * *

Нас учили не мыслить шире
в постсоветском цветном раю.
Полу-Маугли, полу-Мцыри
представляться бы в интервью.
Наши старшие, выжить силась,
нас не били, и очень зря.
В мультик плавленный провалились
ненаследники Октября.
Грустный дяденька у престола
от Кощея охраняет иглу.
И танцует Наташа Ростова
на балу.
На медведе Балу.

* * *

1. Чем дольше явь, тем интересней сны.
Мне было двадцать три, мне точно было.
Я слой за слоем город на себя
наматывал – все будущие смыслы.
2. Тогда Академический район
был местом поцелуев и прогулок.
Кирпич и тополь, «Булочка бриошь»,
ночная пыль, белившая ботинки.
На Дмитрия Ульянова ловил
«шестерку» ли, «девятку» ли – неважно.
Как скажет позже четкий А. Варской,
«московской осени свободный путник».
3. Тогда – бродил, а после – проезжал,
и в каждом слое было больше смысла.
Вот важный слой: с беременной женой –
на Севастопольский, в перинатальный центр.
А вот еще – предновогодний слой,
две тысячи двенадцать слеш тринадцать.
В обнимку с елкой еду слеш в метель,
в один из предсказуемых разладов.
Таков Академический район,
расчерченный имперскостью трамваев.
Зачем он мне, и я зачем ему,
не знаю.
4. Однажды поброжу, и так скажу
(себе скажу, ведь поброжу непарно):
«Я размотал до самого себя
шуршащую бобину киноплёнки»...
5. ...В тот год айфон явился в третий раз,
в тот славный год любовных приключений
мы получали твердые дипломы
империи посмертных инженеров.

* * *

В менестрельствах сидят менестрели,
вспоминают, как жили в Удельной
и сквозь минус шестнадцать смотрели
на кудлатые ноздри котельной.
Как чертили по инею замки,
как мечтали о том и об этом,
уходя за разумные рамки,
не умея мечтать о конкретном.
Пробудись, о конец девяностых!
Серебром на ресницы мне брызни!
О, седая береза в наростах!
О, подборка «Наукаижизни»!
Пробудись, обрастая по новой
тем же мясом туманной идеи.
В электричке до «Станцияновой»
новой магией я овладею...
Но драконам на горе, и йетям,
не доехать туда, не дотопать.
Между тем человеком и этим
вот такая вот (жест) хитропропасть.

* * *

Луна на нуле, времена на нуле,
и даже #морозвоевода,
и даже Лимонова нет на Земле
взболтать эту теплую воду.
Коктейль удивительно правильных лиц
с горчинкой эрзац-вольнодумий.
Торчат из по новой открытых гробниц
бинты приглагоуренных мумий.
Какого же хрена охотничий век?
ГУЛАГ, уничтоживший классы?
Смотрите из космоса: се человек
до первой открывшейся кассы.
Татьяна тряслась, окружали ее
идейные всякие гады.
Тут вышел Евгений и рявкнул: «Сырье!»
И сразу все стало как надо.
«Засунь себе в задницу Эппл-тиви, –
бормочет старик из кристалла, –
Любимцы богов признаются в любви
цитатами из “Капитала”».

ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ

Губы шептали одно,
Годы твердили иное.

Губы тянули вино,
Годы тянулись в запое.

* * *

Страсть к деньгам и женщинам,
Алкоголь и литература, дети...

Порядок не обязателен.
Иногда что-то выходит на первый план,
Что-то временно отступает.

Боязнь выбросить любую бумажку, старую тряпку –

Все это при жизни было моей формой борьбы со смертью.

* * *

«Колы мы бідні,
то мы і маємо буты бідні», –
говорила прабабушка моей жены Ксения Леонтьевна.
И была права.
Но не в смысле духа или денег.
А в смысле, что все мы смертны.

* * *

В детстве.
В школе, родные, общество...
Все учили,
что надо готовиться к трудностям в жизни.
И я,
внутренне сцепив зубы,
готовился к трудностям.

А они так и не наступили.

| Юность №1
| Январь 2022

ПРОЗА

МЕЖДУ ИМАНДРОЙ И ЧОРРГОРОМ



ВАСИЛИЙ НАЦЕНТОВ
Родился в 1998 году в Наменной Степи Воронежской области. Учится на географическом факультете Воронежского университета. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Москва»,

«Нольцо А», «Сибирские огни», «Подъем», в «Литературной газете», «Литературной России» и др. Участник Международного Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, Первого Всероссийского слета молодых

поэтов «Зеленый листок». Лауреат Премии правительства Воронежской области, Международной премии имени В. Ансенова, специального приза премии «Лицей» от журнала «Юность». Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы.

Мягкое северное небо держалось на трех трубах апатитонелефиновой фабрики и моем деревянном окне, выпиравшем многоугольной скульптурой из пятого этажа общежития Арктического университета. Другое, кухонное окно, в котором, если присмотреться, мерещился сероватый туман Расвумчорра, сливалось с небом, и иногда казалось, что, подойдя вплотную, можно окунуть в него нос.

Вечерами я ходил от одного окна к другому. Поскрипывали деревянные, крашенные грязно-коричневой краской полы, дышали чуть отошедшие от стен обои, в литровой банке из-под соленых огурцов тихо светилась так и не успевшая зацвести веточка сирени.

Под утро приходил сосед, будил меня (в то лето я спал особенно нервно и чутко), и я почти до самого подъема ворочался, измученный сам собою.

Утром ехали на завод или на рудник, работали над довольно бессмысленными студенческими отчетами, а вечером, когда возвращались, сосед почти сразу уходил на тусовку в одну из комнат на нашем этаже, и все повторялось.

Вечера я любил. Любил это гордое, свинцовое одиночество. Стук собственного сердца, потрескивающую под старым чайником электрическую конфорку, запах нагретого вина, верный сигаретный дымок, упирающийся в беленый потолок и медленно растекающийся по нему.

Любил однокурсников, не то чтобы не обращавших внимания, но, кажется, несколько побаивавшихся меня. Вполне хороших и ясных ребят и девушек, в глазах которых я, должно быть, слыл одновременно высокомерным снобом и скучновато-надменным болтуном.

Так длилось все пять университетских лет, а здесь, на Севере, только укрепилось.

Конечно, я любил их как раз за это стойкое безразличие, дававшее мне и спокойствие, и свободу. За безразличие, которое при всей своей непоколебимости иногда смешивалось с презрением. Последнее особенно способствовало гордости и как будто придавало значимость моему одиночеству.

После недели довольно бессмысленного шатания по местным предприятиям нас ждали горы: стокилометровый пеший маршрут на четыре дня и три ночи.

Уезжали мы рано утром с маленького (по меркам Москвы почти игрушечного) апатитского вокзала.

Белое солнце. Гулкий и сырой после ночного дождя перрон. Холодный ветер. Вагон рабочего поезда, который за полярным кругом часто выполняет роль электрички. Кучка аборигенов.

Однокурсники толкуются у двери вагона, как комары под ночной лампочкой. В очереди, как в эволюции, побеждает сильнейший и хитрейший. Этого у них не отнять.

Обычно я довольно пренебрежительно относился к подобным сценам, но в это утро смотрел иначе. Я знал, что совсем скоро мы вернемся в Москву и расстанемся навсегда. Разве что выпускной, от него вряд ли получится отвертеться... Но я твердо знал, что по-настоящему вижу их последние дни, и тайно радовался этому. Подмечал (на память, так сказать) детали особенно противных мне, старался запомнить образы немногочисленных приятных (исподволь приятных: где-то в глубине души я чувствовал, что с некоторыми мог бы вполне подружиться).

Огромные черепаши рюкзаки на спичечных девичьих ножках. Неумелые, торчащие горбом, на мальчиках они смотрелись по-другому и все-таки выпирали настолько, что казались театральной бу-тафорией, пустышкой.

Когда залезли в старый плацкартный вагон, переделанный под сидячий, начался дождь. Мелкий, похожий на туман, он обволакивал грубоватый вагонный шепот, влажный и мягкий его полусвет.

Я сидел у окна, спиной к движению, рядом со своим соседом, напоследок уткнувшись в телефон, и старым сердитым дядькой, который, казалось, из последних сил сдерживал свою испитую морду, чтобы она, чуть дрогнув, не рухнула на пол и не растеклась. Все его существо выдавало напряжение, последнюю волю последнего северного романтика, приехавшего сюда годами в 80-х, на самом излете эпохи. Ехал он по ягоды: из желтого казепашного рюкзака, зажатого между ног, торчало пластмассовое ведро.

Мне хотелось заговорить с ним, но я не решался.

Вагон медленно тянулся вдоль Имандры, как новый бегунок на старой молнии в заботливых хозяйских пальцах.

Хибины. Какие-то Медвежьи ручьи. Нефелиновые пески. И наконец Имандра. Двухэтажная, серого кирпича коробка: пост дежурного станции. Несколько деревянных домов-скворечников. И все – мутная сырая зелень и долгая дорога вверх, на восток, к Чорргору.

Совсем скоро из тумана под собственной его тяжестью проступают, как долгожданные слезы, холодные капли дождя. И тонкая нитка нашего бесшумного пути на попадающихся изредка камнях начинается позвякивать.

Бусы.

Часа через два с половиной, после короткого привала у Гольцовки, камней уже столько, что наше позвякивание превращается в серебряный едва неразличимый перезвон, рассыпающийся между кривами березовыми стволами и ухающий в лишайник.

Гольцовка сужается до ручья и уходит вправо, куда-то в сторону перевала Ферсмана. Березовое криволесье становится арктической тундрой. Начинается снег. Слежавшийся, каменный снег, который не тает никогда. На нем – странные и злые рисунки из пыли и проталин, похожих на впалые щеки. Да, огромное лицо! Сильное и тяжелое, размером с наш дом на Мещанской. Смотрю на него, как в зеркало.

На подходе к Чорргору туман сгущается так, что идти становится невозможно. Приваливаемся к камням. Лица едва различимы. Они плывут, меняются друг с другом, одно переходит в другое. На время туман уступает снегу, потом дождю.

Решаем идти.

Но метров через двести останавливаемся. Снова налегает туман.

Я, нарочно чавкая, жую снег. Почему-то хочется, чтобы на меня посмотрели. Но туман съедает звуки. Ничего не остается. Или это все-таки на меня никто не обращает внимания?

Впереди суетятся. Тени колышутся, как огромные серые простыни на ветру. Кто-то, наверное, подвернул ногу. Кто-то плачет, окончательно выбившись из сил.

Но почему ничего не слышно?

Где эти сопливые юношеские стоны и всхлипы?

До отвращения тихо.

Господи, как хочется говорить!

Кто-нибудь есть рядом со мной? Переваливаюсь на правую сторону – камень. На левую – снег.

Больше всего на свете хочется тела. Женского горячего тела! Чувствую, как от холода и сырости, от подступающего возбуждения твердеют мои соски.

Господи, я никогда не знал женщины!

Когда от внезапной слабости, которая всегда предшествует влажной, как будто войлочной, обиде, смертельно утяжеляющей сердце, я закрываю глаза, кто-то пихает мой кирзовый сапог.

Сосед.

Что ему от меня нужно? Сигареты вымокли. Баклажку с водкой я все равно не отдам... Как медленно проступает, вырисовывается его лицо. Какие невнятные и противные у него черты.

Нужно идти. Иначе мы просто замерзнем. Как просто замерзнуть. Как просто, оказывается, умереть. Только глаза закрой.

Но теперь идти легче. Теперь я иду ради женщины, еще неведомой женщины, которая, конечно, ждет меня там, за перевалом, в райской долине небесного Кунийока. О маленькая моя саамка! *За все мучения – награда мне ваша бледная рука.*

Я иду последним, и мне хорошо. Я знаю, что никто не видит меня и никому я не нужен, что никакая тварь не посмеется сейчас надо мной, в эту священную минуту великой любви.

Мне хорошо.

Я замедляю шаг.

Чуть покалывают слабые, мягкие ноги.

Сердце бьется глухо и редко.

Это от любви.

Уже виднеется причудливый хохолок брезентовой вежи, уже слышно суетливой дыхание ее лопарских лаек.

Осталось совсем немного. Сейчас я дождусь, когда ребята уйдут подальше, сниму надоевший ледяной рюкзак, насилиу приковывающий меня к этим мертвым камням, и пойду гордо и смело. Как умею один только я.

Милая моя саамка! Как властны и жгучи твои глаза, какие дикие твои влажные губы. Да, губы к губам, нос к носу. Это настоящий саамский поцелуй.

Только почему темнеет? Почему меркнет твоя вечная белая ночь? И дождь, дождь – как будто по стеклу.

Всю ночь – дождь. Ровный и праведный, родной: болезненные эротические видения растекаются, как тушь по лицу. Только изредка, рывком, похотливым язычком синего пламени – ветер. И снова горсть холодных капель.

Просыпаешься и засыпаешь. Одновременно и противно (злишься на самого себя), и страшно, как и всегда ночью: ждешь рассвета. Чуда. Спасения. Реальности. Больше не сопротивляешься, отдаешься времени, как взрослой (на жизнь взрослее тебя – с ребенком) женщине. И плывешь. К свету. К миру. К материи, которую так презираешь днем и которую так хочешь, с физической болью, ночью.

Рассвет, конечно, не наступает. Поздней московской осенью не бывает рассветов. Просто небо чуть выцветает, устает.

Белая-белая ночь.

Встаешь с дивана и сразу ныряешь в резиновые сапоги. Ноге жестко и г(л)адко, как внутри оцепеневшей гадюки: босиком, даже носки не надел.

И – в лес: вылез в лес.

Хорошо, что гадюки спят. Не засыпают и просыпаются, как я, а просто спят. Потому что не могут иначе. Потому что иначе не бывает.

И хочется такой жизни. Понятной. Верной жестоким законам. Прекрасной и глупой от неведения, где нет ни радости, ни страха, ни любви, ни даже смерти, потому что смерть не-мыслима. Хочется

счастливой животной жизни. Гадючьей или мышьиной. Лягушачьей. Не-че-ло-ве-чес-кой.

Из-за вот этого всего и тащишься с утра пораньше в лес. В любой лес. В любую погоду. Юннат-вуйерист! Впрочем, спаривание в этом смысле интересует едва ли не в последнюю очередь. Идешь подглядывать за *другой* жизнью. И не как биолог (биограф!) или фотограф-анималист. Это девиация иного характера: сущность, внутреннее, скрытое содержание, *синтаксис живых существ...*

Листьев нет (писать не на чем!). Облетели еще до Покрова. Высыхали весь сентябрь, чуть потрескивали, скручивались, чахли на глазах: целый месяц дождя не было. А потом, числа десятого, с первым дождем и облетели. За день. Скрученные, они были похожи на глаза. Летели и шурились.

Теперь, правда, долго еще им лежать. Перегнивать не ворочаясь. Становиться землей и воздухом. Воздухом и землей.

Ветра тоже нет. Все голо, конкретно и ритмически безупречно.

На входе почтительно замираю. Как перед искусством, перед искушением. О, дрогни, натяжение, впусти! И врываюсь. И странно миру и хорошо. Без меня, чудака, оказывается, ничего бы не существовало.



ВСЕ ХОРОШО. НОЯБРЬ



ВАЛЕРИЯ КРУТОВА

Родилась в 1988 году. Получила юридическое образование, работает специалистом по информационной безопасности.

Участник 18-го и 19-го Форумов молодых писателей, организованных Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ.

Слова, как правило, причины. Причины для сотен ненужных и пагубных действий. Слова заставляют нас бить, ломать, плакать, бежать, и нет возможности остановить все это. Разве что... умолкнуть? Всем миром умолкнуть. Но нет возможности заткнуть рты всем на этой планете.

Здесь каждому слишком плохо, и каждый старается показать, что все – все-таки – хорошо. Непонятно зачем, если можно просто впасть в уныние всем миром и принять это – как данность. Как абсолютно нормальный и здоровый способ жить. Ведь мы же приняли притворство и наигранность. Тогда мир погружится в тишину, потому что грустные люди не имеют необходимости говорить. Им хорошо наедине с собой и своими переживаниями.

Осень прекрасна, она оголяет все вокруг нас, сидит с деревьев шелест. Они обнажаются и стоят, стыдливо прикрывая ветками свою уязвимость, переживают – а ну какой-нибудь прохожий обломает им ветви для костра. Пообрубает то, на чем, возможно, однажды могла бы расцвести новая весна. Но ветки обломают и предадут костру. Не сейчас, так следующей осенью.

Люди обыкновенно жестоки. И прекрасны в своей уязвимой жестокости. Они беспечны до конца, и конца этому никогда не наступит. Как и людям, потому что они прекрасны еще и в своей тяге к размножению. Они надеются, что на новых ветках все-таки однажды расцветет весна.

Осенним днем один молодой офисный работник вдруг решил не ехать на службу транспортом, а пойти пешком. Решил испытать на прочность свой обмякший вертящимся креслом организм. Идти было далеко, и молодой офисный работник встал пораньше. Он мужественно проигнорировал кофемашину, вытащил яйца из холодильника и, не зная толком, что с ними делать, положил обратно, машинально поправив их так, чтобы они стояли ровным рядком, печатями в одну сторону. В холодильнике больше ничего не оказалось, и тогда он вытащил из ящика для всякой бакалеи оливки, решив, что они наверняка питательные и полезные.

Молодой офисный работник ел оливки прямо из банки, доставал их пальцами, от чего пальцы мокли – ему не пришло в голову слить жидкость. Когда он совал в рот очередную оливку – заодно и пальцы облизывал, чтобы не капала с них жидкость на пол. Он стоял и ел у окна, наблюдая, как загораются окна в доме напротив. Каждое окно – словно маленький бенефис чьей-то жизни. Маленькой жизни, обрамленной оконной рамой. В одном из окон он увидел, как девушка положила на кухонный стол малыша и начала его раздевать, сняла подгузник, отложила его прямо на подоконник, протерла малышу салфеткой попу, взяла на руки и унесла вглубь квартиры.

Дома в их жилом комплексе стояли вплотную друг к другу, между ними умещалась лишь дорога

На открытом сердце
Сережи мама оперировала
глаголами делать знать
учиться возвращаться
молчать желательно
не возникать закрыть рот
наконец Сережа закрой
ты рот уже я устала
от твоих жалоб
Мама никогда не ставила
точек в своих репликах,
потому что у мамы всегда
было, что сказать дальше.

на две полосы, а парковка была за углом. Молодой офисный работник ел пальцами оливки и смотрел на развернутый подгузник, пока в какой-то момент не обнаружил, что в банке оливок больше нет.

Он оделся, выбрал обувь поудобнее, закинул рюкзак с ноутбуком за спину и вышел из дома, проверив несколько раз, запер ли он дверь.

Утро было теплым и свежим, воздух нравился молодому офисному работнику, он ел воздух, открывая рот и отпуская потом воздух обратно носом. От этого в горле сильно запершило, и он закашлялся. Когда офисный работник был не молодым, а маленьким, мама мазала ему горло камфорным маслом. Она оборачивала слоем грубой ваты указательный палец, макала его в камфорное масло и быстрым движением засовывала его в рот, придерживая сына за макушку твердой рукой. Раздирающий рвотный позыв, омерзительный запах и рука, одновременно символизирующая материнскую любовь и намерение лишить воздуха, – мгновение удушения, животный ужас и обида. Молодой офисный работник до сих пор боялся этого каждый раз, когда першило горло. И, несмотря на это, каждые три месяца он делал ревизию в домашней аптечке и менял старый, так и не открытый бутылек с камфорным маслом на новый.

Мама говорила ему:

20

– Сережа, тебе уже двенадцать лет, ты мужчина и должен

Мама повторяла:

– Сережа, тебе уже четырнадцать лет, пора браться за голову и учиться, ты должен

Мама напоминала:

– Сережа, ты должен

На открытом сердце Сережи мама оперировала глаголами делать знать учиться возвращаться молчать желательно не возникать закрыть рот наконец Сережа закрой ты рот уже я устала от твоих жалоб

Мама никогда не ставила точек в своих репликах, потому что у мамы всегда было, что сказать дальше.

Молодой офисный работник, лишь только добрался до более или менее тихой улицы, достал телефон и набрал номер мамы.

Мама ответила:

– Сережа, почему так рано, ты должен выспаться, Сережа

– Мама, у меня все хорошо, я хочу начать вести здоровый образ жизни и решил ходить пешком на работу.

– Сережа, что за глупости, Сережа, ты должен был поставить меня в известность перед тем, как принять это решение

Мама была прекрасна в своей заботе и никогда не умолкала, потому что у нее всегда было что сказать.

– Мама, я люблю тебя, но я не должен говорить тебе о том, что решаю.

– Сережа, не кричи на маму и всегда звони мне и говори, пожалуйста, Сережа, что с тобой происходит, я же волнуюсь

Мама говорила еще долго, а молодой офисный работник все шел и шел.

Когда он дошел до офиса – через сорок минут примерно – он поднялся в кабинет начальника, который всегда приходил раньше всех и говорил, что эти все должны приходиться так же рано. Начальник был доволен тем, что молодой офисный работник пришел так рано, почти сразу после прихода его самого.

Еще начальник оценил, как молодой офисный работник учтиво, еле заметно, поклонился ему.

– Сережа, ты почему молчишь, ты должен отвечать, когда я тебя спрашиваю

Молодой офисный работник вдруг понял, что так и не отключил телефон, и мама говорила без точек.

Тогда он отключил телефон на полуслове мамы и сказал начальнику:

– Я должен уволиться, извините.

И вышел. Где-то час ему потребовался, чтобы собрать вещи, попрощаться с недоумевающими коллегами и выйти из офисного здания. Он никогда не видел, как город выглядит в будний день в районе десяти. Он и не знал, как город пахнет.

Молодой офисный работник не думал, что осень такая красивая в районе десяти утра. Когда он дошел до дома, то не сразу понял, что это его дом. Сережа глядел, знакомился, осматривал дорогу между зданиями, пытался найти окно с подгузником на подоконнике. Во дворе гуляли мамы, но ту утреннюю маму он не заметил.

Он поднялся в квартиру, разделся, снял удобную обувь и небрежно бросил рюкзак на пол, не забываясь о том, что ноутбук вообще-то может треснуть. Он достал аптечку, вату, пиалу и разделся по пояс.

Зашел в ванную комнату и сел около унитаза. Твердой рукой он отвинтил крышку бутылка с камфорным маслом, зубами вытащил пробку, сплюнул ее на пол и вылил масло в пиалу. Затем он обмотал ватой палец и обмакнул его в масло.

Сережа замер, чтобы перевести дух и глубоко вдохнуть уже воняющий камфорой воздух.

Твердой рукой он схватился за ободок унитаза, а вторую руку, с вымазанным указательным пальцем, резко засунул в горло.

Сережа блевал, размазывая выступающие слезы, и снова засовывал палец, обмакнув в камфорное масло. Минут десять он блевал оливками и водой, пока из глотки не пошла желчь, а живот не скрутило от невозможности еще хоть что-то выдать.

Сережа, не умывшись, ушел спать, игнорируя звонящий безостановочно телефон.

А на следующий день пришла зима.

*Работа над рассказом велась
в резиденции Дома творчества
Переделжино*



И



ИРИНА ЖУНОВА
Родилась в 1983 году в военном гарнизоне в Саратовской области. По образованию — инженер, преподаватель, кандидат экономических наук. Училась в литературных мастерских Creative Writing School (CWS) на курсе прозы Майи Нучерской.

Преподавала литературное мастерство в детских мастерских CWS. Работает в магистратуре «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ. Публиковалась в журналах «Знамя», «Прочтение», литературном альманахе «Пашня», в сборнике «Счастье-то наное!» Реданции Елены Шубиной.

Подъезд был старый и облупленный. Вика не стала подниматься на этаж и села на подоконник между первым и вторым. За стеклом гремели поезда, пролетающие между ажурными сварными крыльями моста. Раньше здесь было тихо, но после начала строительства Московского центрального кольца родители переехали на дачу — маме становилось все хуже, голова болела все чаще, а с запуском поездов стало просто невыносимо. Теперь для нее все наконец закончилось.

Сверху доносился скрежет и грохот: два огромных бородатых мужика кантовали древний холодильник. В просвет между перилами Вика видела то локоть, то чью-то лохматую голову, то бок холодильника, весь в царапинах и рыжих пятнах, каждое из которых она знала в лицо. Вика дождалась, когда холодильник проволочили мимо, и поднялась на площадку.

Дверь открыл Вик. Папина фланелевая рубашка поверх футболки с Pepsi, которую он носил еще подростком. Вика подняла брови, но он только кивнул: — Сделать тебе чай?

— Только давай сегодня не рассиживаться, дел до черта, — одновременно выпалила она.

Так было всегда: близнецы Виктор и Виктория если не говорили вместе, то договаривали друг за друга. Вик — тонкий, с длинной шеей и гибкой спиной, похожий скорее на танцора, чем на про-

граммиста. Длинные светлые волосы всегда собирал в небрежный хвост. А Вика — прямая, ломкая, в зеркале — на полголовы выше того роста, на который ощущала себя внутри. Со спины их, пожалуй, можно было перепутать. Но стоило им начать двигаться — и разница становилась очевидной. Вика носила все на своем пути, а Вик был тем, кто с ловкостью фокусника заставлял окружающие предметы повиноваться ему, и вообще, видимо, был создан для того, чтобы усмирять рождаемый сестрой хаос. После окончания политеха они не жили вместе, зато вместе работали, используя все преимущества синергии близнецов.

Вика огляделась: одежду и разный хлам уже сложили в коробки и вывезли. Старые дубовые шкафы пялились пустыми глазницами стеклянных дверок, у стен лежали длинные бревна свернутых шерстяных ковров — бабкины подарки. Этот — на свадьбу, тот — к рождению близнецов, самый маленький — на юбилей. Посередине гостиной неловко замер огромный лакированный стол с шербатыми углами. Вика и не помнила, когда последний раз видела его без скатерти, и теперь ей казалось, будто с него сняли обертку. А конфета под ней — горькая.

Оставались только книги. Мама, всю жизнь проработавшая библиотекарем, занималась коллекционированием. Вик и Вика всегда знали, что сам процесс поиска, отбора и заполнения полок имел

какой-то навязчивый смысл, что эта – книжная – сторона маминой жизни была для нее, пожалуй, важнее семьи. Не сговариваясь, они откладывали разбор библиотеки до последнего: с одной стороны, это – самое важное, что осталось от мамы. С другой – в век крошечных съемных квартир и электронного чтения смысл в этом бумажном мавзолее был исключительно сентиментальный.

Вика, не разуваясь, прошла за братом на кухню. В распахнутых шкафах было пусто. Опустошенно.

– Точно не хочешь чай?

Вике казалось, что он хочет о чем-то поговорить и просто не знает, с чего начать.

– Как там Черри?

Вика вздохнула и терпеливо ответила:

– Живая.

После похорон она забрала себе мамину собаку, мелкого трясущегося чиха.

– Андрей не против?

– Он-то счастлив. Он вообще мечтает о доме, полном собак, котов, рыб. Детей.

– Опять поругались?

– Угу. Не знаю, может, со мной что-то не так? Трясет от одной мысли. Еще собака эта. У нее, похоже, маниакально-депрессивный психоз. В депрессивной стадии она меня преследует, дрожит и требует на ручки даже в душе, а в маниакальной рычит, когда я выковыриваю ее из нашей постели.

– Жопа.

– Ну. А у тебя как? – Не прекращая разговора, Вика прошла в комнату и начала доставать книги с узких полок.

– Не знаю, вроде хорошо. – Вик вошел следом с чашкой в руках и мялся в дверях.

– Вы с Олей что-то решили?

Мама весь последний год терроризировала Вика за то, что он связался с девчонкой, беременной от другого. А с тех пор, как Оля родила девочку с ямочками на щеках и коленках, мама при любом удобном случае напоминала Вику, что он нужен Оле только как отец для Ксюши. И вслух пространно сомневалась, что он годится на эту роль. Вик, как кажется, сомневался тоже, так как жениться не спешил. Вика Олю тоже не слишком любила. Не из-за того, что она заняла в жизни брата столько места, сколько до нее отдавалось только Вике. Нет. Просто было в ней что-то. Шемящий, тревожащий запах. Сладкий и одновременно такой горький, что хотелось бежать прочь и выть, забившись в ближайшую дыру. Запах младенца.

– Ничего мы не решили. Вика, что ты делаешь?

– Снимаю это дерьмо. Не понятно?

Вика бросила книги и теперь тянула простыню со старого зеркала в тяжелой раме, но край полотна за что-то зацепился. Она дернула раз, другой, привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть, в чем проблема, не увидела и опустила на табурет.

– Забей, ну.

– Вик, ты же взрослый человек. Понимаешь, что это все какое-то мракобесие?

– Если отцу так проще – пусть висит. Оставь.

– Да он сюда после похорон даже не приехал ни разу.

Эта квартира осталась маме от бабки. Когда отец закончил учебу и пошел служить на подлодку, мама отказалась уезжать за ним в Североморск. «Какая разница, где сидеть на берегу и ждать? А здесь я хотя бы дома!» Отец прослужил четырнадцать лет. И каждый год все труднее становилось отождествлять большой фотопортрет из маминой спальни, с которого улыбался молодой, подтянутый усач в парадной форме, и этого редкого гостя: все более тучного, все более старого, все более – чужого. Только тельняшки не менялись. Огромные, пахнущие тем самым бравым усачом с портрета и – чем-то острым, неведомым, как из банки с ракушками. Морем.

Все четырнадцать лет на даче копилось честно добытое барахло, которое отец тащил из Североморска в каждую побывку и отпуск. Пять ящиков из-под снарядов, полных диодов, хренодов, черт знает чего еще.

– Пап, давай вынесем это, ей-богу, ну не развернуть! – предлагал Вик.

– С ума сошел? – орал отец. – Тут целое состояние!

– Ну так давай сдадим! На цветмет.

– Ты головой думаешь? Хочешь, чтоб отца посадили? Все, закрыли разговор.

Маме, казалось, было все равно. А Вик и Вика все детство мечтали о том, что однажды они с отцом из этого неведомого соберут – пусть не подлодку, хоть заваливающий батискаф – и отправятся в путешествие вниз по Клязьме. В день ВМФ отец с утра устанавливал над крыльцом андреевский флаг, наряжался в парадную форму и обещал, что чуть попозже, вот буквально через часик, пойдем посмотрим, что там в ящиках. И начинал пить. К обеду, когда флаг в глазах у него уже троился, отец разрешал Вику и Вике поиграть с кортиком, на этом мама выходила из себя, веселью приходил конец, а подводная лодка засыпала в своих ящиках еще на год.

– Слушай, я тут кое-что нашел. Ага, вот оно. – Вика внутренне подобралась. – Я не знаю, правильно ли я понял, что это, но...

Она, трехлетняя, стоит в дверях родительской спальни, где мама при свете тусклого ночника еле шаркает по комнате в расстегнутом папином халате. Некрасивая, уставшая. Ей больно ходить и больно сидеть, мама может только лежать, но все равно почему-то хочет играть с этой новой куклой, которая только снова и снова заходится страшным тихим криком.

Вик достал откуда-то коробку, явно припрятанную им, чтобы не попала на глаза в первый же момент. «Готовился», – подумала Вика. Дело швах. Коробка была размером с книгу, старая, из плотного картона, вытертого на сгибах. В таких хранили бумаги, документы или фотографии.

– Вик, перестань, у тебя такое лицо, что меня сейчас инфаркт хватит.
– Прости. В общем, я подумал...
– Что мы должны посмотреть это вместе, я поняла. – Вика осторожно взяла в руки коробку, в уме молниеносно перебирая варианты: наследство – неоткуда, усыновление – нет, есть фото с близнецами у роддома, долги – бред.

Под крышкой действительно оказались бумаги. Записки, обрывки, несколько документов, в том числе голубой листок (старое свидетельство о рождении?) и фиолетовый (о смерти?). Вика аккуратно вынула из стопки цветное фото, привет девяностым: диван у ковра, мама, папа, между ними – трехлетние близнецы, а на руках у недовольной, зареванной Вики – маленький сверток в тугих белых пеленках, из которых виднелся крошечный бледный профиль с носом-кнопкой.

Что?

- Ты как?
- А? Да нормально, почему ты спрашиваешь? – Вика сосредоточенно изучала документы из коробки. «Стафилококк... поражение органов дыхания...»
- Я отсюда вижу, как у тебя глаз дергается.
- Херня.
- Почему родители никогда об этом не говорили? – Вик задумчиво крутил в руках фотографию. – Ты хоть что-то помнишь?
- Ни черта я не помню лет до четырех. А ты?
- Детский сад немного. Дача. Подлодку.
- Видимо, сначала мы были слишком маленькие...
- ...а потом стали слишком взрослые, – закончил за нее Вик.

Вика не глядя складывала аккуратные стопки книг в огромные коробки и думала о том, что ее мир всегда был несовершенен, неполон. В нем как будто чего-то не хватало. Как звучит секунда, каков на ощупь понедельник, какого цвета обратная сторона неба? Столько всего узнать было невозможно. Когда она пыталась это что-то поймать, назвать и выспросить у родителей, оно ускользало.

И вот сейчас – она вдруг с ошеломляющей ясностью поняла, наконец нащупала, где именно всегда была дыра. И теперь погружала пальцы в гладкую неровность, изучая – какое оно? И оно – было. Как световой оттиск, который продолжает стоять перед глазами, если зайти в темную комнату.

Вика знала, что и брат тоже всегда это чувствовал. С ними в детской жила тень, падавшая от высокого портика здания через дорогу. Каждый день она кочевала из угла в угол: появлялась на одной стене, скакала по письменному столу, по детским кроватям, к вечеру спускалась на другую стену и исчезала за плинтусом. Зимой тени не было, только мягкий намек в углу, будто она опала и уснула. Но каждую весну тень возвращалась, к лету вставала в полный рост, а осенью снова засыпала. Не умея дать ей имя, Вик, заговоривший очень поздно, звал ее Иии.

- Точно ничего не хочешь оставить себе? – спросил Вик, оглядывая сложенные и подписанные коробки, которые должны были отправиться на книжный развал.
- Нет, – ответила она без паузы. – Ничего.

Ночь была тяжелой. Андрей уже спал и дышал ровно, глубоко. Вика ловила этот звук, пытаясь поймать ритм, будто если ей удастся, сон – горя-

чий, плотный, тугой – придет. Но она сбивалась, сон накапывал дурным забытьем и рвался.

Она, трехлетняя, стоит в дверях родительской спальни, где мама при свете тусклого ночника еле шаркает по комнате в расстегнутом папином халате. Некрасивая, уставшая. Ей больно ходить и больно сидеть, мама может только лежать, но все равно почему-то хочет играть с этой новой куклой, которая только снова и снова заходится страшным тихим криком.

Вика металась по мокрой подушке.

Она бежит по коридору от мамы и кричит на одной ноте: «Выкинь-выкинь-выкинь-выкинь!»

Проснувшийся Андрей обнимал ее во сне, гладил по волосам, но она только выпутывалась из влажных простыней, отталкивала его горячие руки и снова забывалась.

Папа укладывает в поникший, похудевший чемодан неглаженные тельняшки. Мама уезжает со своей новой куклой. Вика ждет ее, почти не покидая наблюдательного поста у окна. Соседка, оставшаяся присмотреть за детьми, сердится и не разрешает сидеть на подоконнике. Зато можно есть конфеты сколько хочешь. Мама столько не дает.

Нечем дышать.

Мама смотрит на отца взглядом, уже обращенным куда-то внутрь себя. Она очень слаба, путается в мыслях и воспоминаниях и только просит: «Позаботься о них. Прошу. О Вите, Вике и... Вите-Вике-и».

Вик, Вика, И.

Утром Вика проснулась, когда Андрей уже ушел на работу. Черри свернулась на его подушке и спала, высунув язык. На кухне Вику ждала тарелка с двумя одинаковыми бутербродами и записка: «Я покормил Черри. Проснешься – позвони. Есть идея, куда поехать на выходные. Тебе надо развеяться».

Не дав себе времени передумать, Вика схватила телефон, набрала его номер и выпалила:

- Прости, пожалуйста. Но я не могу. Я не хочу детей. Не могу, не хочу ни о ком заботиться. Я собираю сегодня вещи и пока перееду к папе. Пожалуйста, не отговаривай меня, я уже все решила.
- Не успела она положить трубку, раздался звонок. Вик. Кто же еще.
- Вика, я тут подумал, я не хочу продавать эту квартиру...
- Да, – как обычно, перебила Вика, не дав ему договорить.
- Прости, что я – вот так. Но если вы с папой не против, я... Мы с Олей и Ксюшей...

– Да. Да, конечно. Живите.

Вика села на край кровати. Черри спала, чуть дергая лапами. Отодвинув собаку подальше вместе с подушкой, Вика легла рядом и закрыла глаза. Уже в это воскресенье – день военно-морского флота. Отец достанет флаг, форму и кортик. И, может, на этот раз они начнут наконец строить чертову лодку. Главное – чтобы все поместились: Вик, Вика, И.



КОГДА ПРИДЕТ РЕКА

Двери не было. Под вывеской «Речная мастерская» – только распахнутые покосившиеся ворота, обшитые листовым железом. Тяжелые, скрипучие, с крошащимися заржавленными краями. Краска почти сошла, и лишь кое-где держались блестящие скорлупки цвета глубокой водной сини.

Двор был щедро засыпан щебенкой. На покосившемся штaketнике сушились перевернутые банки, хлопал на ветру упаковочный целлофан, клоками сорванный с новых коробок с деталями. Рассыпалась горстями рябь по стьлой – муть на дне – луже. Две вороны лениво разгребали сор и стружку в поисках блестящей мелочи: гаек, болтов, шайб.

Около забора стояла криво запаркованная «Волга», дородная, задастая, насквозь ржавая. Ее в девяностых пригнал из самой Москвы дядя Василий. Костя от неожиданности проехал мимо, но испугался собственной трусости и резко затормозил, больно стукнувшись грудью об руль.

Запарковавшись строго параллельно «Волге», он пошел к воротам, неуверенно оглядываясь на машину. Со света Костя не различил, что в темном помещении мастерской дед стоит совсем близко и с интересом его рассматривает. Проклиная свой внезапно осипший голос, Костя прохрипел:

– Дядь Василий?

– Я. – Дед вытер масляной тряпкой огромные ладони. – Да не мнись, зайди. Я уж сделал все, шас вынесу твой заказ.

Костя с детства не проходил в мастерскую. Ремонтник из другой смены без вопросов принимал заказ у стойки на входе, записывал огрызком карандаша в желтую тетрадь с загнутыми страницами и там же рассчитывал, доставая на сдачу мятые купюры из засаленного кармана спецовки. Но дядя Василий уже исчез за стойкой, из гулкой темноты слышалось его скрипучее бормотание. Боль в груди не проходила. Да что ж такое, не так ведь и сильно стукнулся, а не отпускает. Костя потер место удара.

Дядя Василий тяжело шагал вперед, постукивая протезом, наследством Афганистана. В детстве Костя любил представлять, что велосипед ему чинит настоящий одноногий пират, и он проводил в пиратской пещере дни напролет. А пират колдовал с инструментами, гонял сигарету из одного угла рта в другой и напевал, шурясь от лезущего в глаза дыма:

*Хорошо тому живется,
У кого одна нога.*

Поднимал глаза на Костю, улыбался, пританцовывая огрызком сигареты:

*И порточина не рвется,
И не надо сапога.*

Костя дядю Василия обожал. Пока не познакомился с его сыном, Андреем, Ваксой, как звали его в городе. Он был старше на пару лет и к концу начальной школы уже успел сколотить вокруг себя крепкий круг таких же пустоголовых агрессивных зверят. Вакса всегда вызывал у Кости тревогу. Не сходявшая с его лица улыбка пугала: раздражающая, до зубовного скрежета фальшивая радость была, похоже, намертво приколочена к его лицу. Иногда вдруг проступало на нем еще что-то – тоска? обида? Но и это – тень, сквозь всю ту же – не отодрать – радость. Знаком его особой доблести были пуговицы с отцовской дембельской формы, перешитые на затасканную джинсовку. Золотые, со звездой. Вакса рос, джинсовки менялись, а пуговицы оставались прежними. С ними и похоронили.

Костя дрогнул плечами и огляделся.

По стенам висели мотки веревок, запасные цепи, рулоны шпагата. В углу болталась пустая погнутая клетка. Когда он был ребенком, ему казалось, что там что-то есть. Стоило отвернуться, как боковое зрение выхватывало в клетке какое-то движение, сумрак вдруг плотнел и причудливо сворачивался во что-то темное и мягкое. Он подходил ближе, но там никогда никого не оказывалось. Только пахло соленой пылью. Вдоль стены – старый, грубо сколоченный верстак, неструганный, но давно отполированный временем до глянцевости.

Над конторкой, покрытой старой клеенкой с полустертymi рыбками, появились новые магнитные ленты, на которых теперь держались инструменты: на верхней – гаечные ключи, на средней – молотки, на нижней – отвертки. Костя сосредоточился на этом новом и старался не отводить глаз, будто это могло помочь и отпугнуть внезапно ожившую память.

- А я ведь помню, каким ты был, как часто приходил сюда...
- Не надо.
- У твоего велика, «Орленка», вечно цепь соскакивала.
- Хватит! – Костя смутился своего крика и отвел глаза.

Под верстаком были свалены разномастные велосипедные колеса. Сложенные тут же листы наждачки пахли сладко и густо, как в детстве.

Вот тут, между ямой и верстаком, это и случилось. Они били Костю долго, со вкусом. За что? Именно тот, первый раз, он и не помнил. Вакса ввалился в мастерскую со своей свитой, и, прежде чем Костя успел понять, что произошло, его уже пова-

лили под верстак и пинали ногами. Помнил только, как взвиваются от каждого удара искры пыли в сияющем параллелограмме на полу.

Когда-то Костя нашел у бабушки книгу про лагерь. Какие-то воспоминания: Сибирь, торфяники, каменоломни. Книгу он так и не прочитал, забросил на первой же истории, из которой успел узнать, что когда тебя бьют, больно только первые несколько минут. А потом болевой шок спасает тело от разрушения, а дух – от мучений. Теперь же это было единственное, что имело значение. Понимая, что уйти ему не дадут и бить будут, пока не надоест, Костя закатился под верстак и ждал, когда он наступит – болевой шок. Но он так и не наступил.

С тех пор Костя избегал безлюдных мест и опасался углов и дыр, куда его можно было затолкать, – помнил, что пощады не будет. Вакса и его приятели особенно любили мучить его в шаге от толпы: за кустами сирени у школы, в туалете на городском стадионе, между киосками напротив центрального рынка.

- Я знал, что у тебя сегодня заказ, специально поменялся. Поговорить хотел.
- Конечно. – Косте было неловко, да и в мастерской совсем не было воздуха, поэтому он торопился и был готов дать деду все что попросит. – Чем могу. Нужно что?
- Ты присядь. – Обмахнув масляной тряпкой табурет, он сделал приглашающий жест.
- Бросьте, дядя Василий, что за церемонии. Надо чего?
- Я, конечно, помню, что вы с Андрюшей не дружили...
- Костя издал то ли горький смешок, то ли короткое рыдание.
- Я старый, Костя, выслушай, черт, имей уважение. Я помню и выпускной ваш, и дурацкую злую шутку с костром, и то, что велосипед твой... сломали...
- Его бросили под поезд.
- Я помню, но...

Велосипед было ужасно жаль, и все закончилось комнатой милиции для Ваксы и переломом ребра для Кости. Счастливый больничник, когда можно было не выходить из дома, закончился слишком быстро.

А в первый день в школе он нашел на ступенях крыльца, в самом углу, что-то буро-розовое. Это оказался птенец, совсем маленький, без намека на перья. Глаза его еще не раскрылись, он был полупрозрачный и больше напоминал помесь курицы, что мать приносила с рынка по выходным, и медузы с картинки в учебнике по биологии. Птенец еще

дышал, но к нему уже протянулась дорожка из муравьев. Их он и увидел первыми – этот деловитый похоронный тракт. Костя задрал голову вверх: под козырьком высокого школьного крыльца прилепилось маленькое выпуклое гнездо, будто кусок бабушкиного глиняного кувшина. Край его был чуть надколот.

Костя чувствовал, как к горлу подступает горячее и горькое. Он не знал, как спасти птенца и у кого можно просить помощи. Он просто начал разметать муравьиные дорожки ладонями, но они все равно восстанавливались. Тогда он сорвал со школьной клумбы что первым подвернулось под руку и начал мести муравьев этим веником. На выщербленных бетонных ступенях рассыпались мелкие цветочные лепестки.

– Смотрите, у этого придурка букет невесты! За муж собрался, недомерок?

То, что бежать надо было сразу, Костя понимал, но он боялся представить, что это зверье сделает с птенцом. В два прыжка проскочив все шесть ступеней, Вакса увидел паданца и придумал куда более веселую игру, чем дразнить недомерка невестой. Он подхватил птенца с земли и поднес к глазам:

– Фу-у-у. Гадость какая. Смотрите, парни. – Его команда столпилась вокруг, с брезгливым удовольствием рассматривая добычу.

– Отдайте, – выдохнул Костя. Ему до ломоты в костях было невозможно смотреть, как держит птенца громила Вакса. Жизни в нем оставалось так исчезающе-мало, что бесцеремонные прикосновения казались убийством.

– Что, недомерок, птичку жалко? Тогда забери!

Костя, не раздумывая, шагнул к нему, но Вакса перекинул птенца одному из друзей.

– Смотри, сейчас мы научим твою птичку летать!

Бросая птицу от одного к другому, они, не сговариваясь, вели Костю через школьный двор к сараю старого школьного нужника. Вакса толкнул ногой покосившуюся дверь и замер над одной из грязных дыр с птенцом в вытянутой руке. Костя знал, с самого начала знал, чем все закончится, но в тот момент, когда маленькое, мутно-розовое тело беззвучно исчезло в щербатой прорези, он резко и глупо, до звона в ушах, вдохнул. И задышал быстро и часто. Повернулся бежать, но его толкнули в спину и захлопнули дверь. С сухим стуком упала доска ночного засова.

Его тогда нашла учительница. Молоденькая и уже совсем измученная: с одной стороны – родителями, требовавшими прекращения безобразия, и с другой – дирекцией, умолявшей не выносить сор и не

портить репутацию школе, стоявшей в очереди на гранты. Она выбрала репутацию. Костя ненавидел ее за это всю жизнь. За то, что молча выпустила его из закрытого школьного нужника. Что попыталась коснуться его щеки, увидев зареванное лицо. Что предложила чистый платок, пахнувший вишней, даже проводила до дома. И – своим нежным тонким голосом ничего не сказала. Ни его родителям, ни родителям Ваксы.

– Я помню, – все повторял дед Василий, заглядывая Косте в лицо слезящимися глазами. – Но я про Саню хотел. Про твоего Саню. Это, конечно, дело житейское. Ну, бьются мальчишки, черт их разбирает, кто там кому первым дорогу перешел. Но ты видел Андрюшиного сына, Максима: сирота же растет. Так что как отец отца прошу...

Костю передернуло. То ли от сквозняка, то ли от этого голоса, чем-то неуловимо напоминавшего тот, который он все еще изредка слышал во сне.

– Ваш внук жалуется на моего Саню? – Он старался говорить тише, не выпускать то, что рвалось изнутри. – Да он же выше на две головы!

Костя понял, что нота вышла фальшивой, что гордость звучала громче удивления и что дед Василий это, конечно, расслышал.

Ночь, когда родился Саня, была его триумфом. Он вез жену в больницу на грузовике, гнал, почти опрокидываясь в поворотах. Дорога была пустой, неуверенно пробивал темноту поворотов дальний свет фар. И только на купавинском мосту за деревней сверкнул одинокий встречный огонь. Мотоциклист, подумал Костя, гонит посередине дороги, камикадзе. Прогрохотав между сварными заграждениями, фонарь мигнул, вильнул и со странным хлопком пропал в зеркале заднего обозрения. Исчез.

Ему с тех пор часто снился этот мост. Ветер, несущий запах сохнувших водорослей и тины. Под мостом – темная топь, затянутая прозрачным льдом в паутине трещин. Он кидал сверху гладкий теплый камень, снова и снова оказывавшийся в кармане, и он с нежным стуком разбивал лед. Только реки под ним никогда не оказывалось.

В ту ночь у них родился не только Саня.

– Костя! – Дядя Василий почти умолял. Видно было, с каким трудом ему даются слова. – Ты знаешь, к чему может привести обыкновенная мальчишеская вражда. Вы с Андрюшей не дружили, да, но теперь речь о детях. Саня и Максим не должны это продолжать.

Косте хотелось кричать, хотелось выплюнуть ему в лицо все то горячее и ядовитое, что годами мешало дышать. Знал ли старик вообще, о чем говорил? Где он был в тот день, когда Костя ждал его, а оказался под верстаком? Не он ли остановил Ваксу и его озверевших друзей? И если да, то какое он имеет право сейчас просить? Или имеет?

– Андрюши давно нет. Знаешь, про близких всегда так кажется – что они никуда не денутся. Как варежки на резинке. А потом – раз – и одной варежки не стало. А вторая теперь болтается. А я все перекладываю ее из кармана в карман, понимаешь? Ну, чтоб не потерять. Поговори с Саней, пусть оставит моего Максима в покое. И береги сыновей. – Дед встал, простукал протезом к конторке и протянул Косте пакет, все это время лежавший на самом виду. – Вот твой заказ.

Дома Костя первым делом всегда шел в детскую. Санина кровать была заправлена с утра и явно не тронута – опять где-то носит. За него Костя не боялся.

Когда Саня первый раз вернулся из школы со сбитыми костяшками, когда шушукался у палисадника с друзьями, явно хвастаясь победами, он думал про свою учительницу, открывшую засов старого нужника. Теперь она была завуч, с личным кабинетом и столом буквой Т. Голос ее теперь звучал ниже, а в кабинете давно пахло мелом и коньяком. Придет ли она на этот раз? Расскажет ли про репутацию и гранты? Он ждал, он готовил ей едкую отповедь, позу, выражение лица. Но она так и не пришла. И он только с горьким удовлетворением наблюдал, как идут дни, как звереет и матерееет Саня, а никто из школы так и не появился на его пороге.

Напротив Саниной кровати стояла вторая. Такая же.

Свет уже был потушен, Гоша уснул, зажав в руке телефон. Костя аккуратно вытащил его из по-детски маленькой ладони и разблокировал экран. Гоша, который почти никогда не выходил из дома, общался с вечно отсутствующим Саней голосовыми сообщениями. Усевшись в дурацкое кресло-боб, Костя открыл ватсап и заулыбался. Саня, как обычно, на связи. Выпускной класс, дополнительная программа столичного вуза, Саня – звезда научной секции, существующей на грант – тот самый, оплаченный несчетным количеством коньяка и оправданный – тысячу раз – успехами удивительных новых детей.

Длинный шлейф голосовых сообщений – ежедневная хронология событий. Костя знал, что Гошка прослушивает их каждый день. На много дней назад.

Что-то вроде внешней оперативной памяти. Хотя в ней Гоша, не умеющий забывать, не нуждался.

В комнату заглянула жена.

– Ну чего сидишь в темноте? Пойдем, не буди, у него сегодня весь день голова болела.

– Я минуту посижу. – Костя дождался, когда она выйдет, и стал по одному запускать новые аудио сыновей.

08:25. Саша

Привет. Спишь еще? Знаешь, бился над твоей задачей вчера всю ночь. Но – уговор был до пятницы, а день еще не кончен. Я думаю. Не списывай меня со счетов, умник!

11:58. Саша

Помню. Думаю. И не смей надо мной ржать... А? Я иду, иду!.. Я пошел, ща на последнем уроке будет докладывать этот придурок, Максим Ваксов. Ты его не бойся, Гош. Это он зря тебе херни наговорил в тот раз, сам он умственно отсталый. Пойду послушаю, что у него там с его фотонами.

13:42. Саша

Нет, ну ты прикинь! Если бы весь тот бред, что Ваксов там набубнил, имел бы отношение к действительности, то затухание на больших расстояниях было бы такое, что оптоволоком можно было бы разве что из спальни бабуле на кухню сообщение отправить. Борща попросить! Дебил он, я ж тебе говорил. Я зафигачил в сеть его доклад со своими комментариями. Чо я один ржу, пусть все наслаждаются.

15:02. Саша

У моего поста с докладом Максима уже несколько сотен лайков. Придурок пишет мне в личку, чтобы я его снес. Шас, ага! Еще хоть слово про тебя скажет, я и фотки его добавлю, как в прошлый раз.

16:11. Саша

Ты не жди меня, опять на весь вечер факультативы поставили. ЕГЭ, чтоб его.

17:52. Саша

Есть! Я вспомнил! Нас раньше на каникулы отправляли к деду на конезавод. А по вторникам приезжал ветеринар. Обходил стойла, пил чай с дедом, разрешал смотреть с галереи. Осмотры, прививки, анализы. Лошади боялись этого айболита до трясушки, узнавали его даже без формы и фартука. Так что – нет! Мой ответ – нет: лошади не любят вторники! Я решил твою задачу! Ха!!! Фиолетовый джойстик с подсветкой – мой.

18:31. Саша

Сию на факультативе. Скучота и мухи. А от тебя до сих пор ни одного аудио. Ты меня слушаешь вообще?..

20:00. Саша

Гоша, не молчи. Я жду новой задачи, давай, чтоб на выходные хватило. Только что-то посложнее, ну! Заставь мои мозги кипятиваться!

20:00. Саша

Ты только не раскисай. Мама говорит, тебе совсем лихо, опять голова болит. Прости, что задерживаюсь. Черт с ним, с ЕГЭ, готов я. Уже выхожу! Буду читать тебе книжку, ты выбираешь...

Последние сообщения повисли непрочитанными.

20:52. Гоша

День отстой. Больно. Ты крутой, все отгадал. Забирай джойстик.

20:53. Гоша

Я придумал новое. Обещай: не отгадаешь – не поедешь в Москву. Будешь учиться ближе к дому. Обещаешь? В общем. Если шум деревьев покрыт белым, то что ты услышишь, если пройдешь шесть ступеней?..

Осторожно прикрыв за собой дверь, Костя прошел по коридору и замер в дверях кухни. Жена сидела под лампой с книгой в руках. Не ляжет, пока не дожидется Саню. Он схватил ключи и вышел, стараясь, чтобы она не слышала.

На купавинский мост Костя приезжал часто. Бросил машину внизу, поднимался по крошащейся бетонной лестнице, останавливался на середине и смотрел, перегнувшись через ржавые перила, вниз, будто ждал, что пустое чрево сухого русла вдруг родит реку. Но реки все не было. Этот мост навсегда остался для него порталом в тот, самый – счастливый? ужасный? – день его жизни, когда родились дети.

Костя тогда метался, ошалелый, по коридору первого этажа районной больницы в поисках хоть кого-то, кто мог помочь ему выяснить, что с женой и почему так долго нет новостей. Когда вдруг забегал, засуетился томный ночной персонал. За скрипучими дверями приемного мелькнули носилки с кучей какого-то грязного окровавленного тряпья. Костя вдруг споткнулся и сошел со своей уже порядком вытертой тропы на клетчатом линолеуме. Он медленно приблизился к дверям и через стекло смотрел, как суетится ночная смена вокруг носилок с неизвестным. И Костя – узнал его. По пуговицам. По дурацким золотым пуговицам со звездами, доставшимся Андрею Ваксову от дяди Василия.

Через мгновение Костя уже стоял в процедурной и смотрел через плечо хирургу, который неловко прикладывал к лицу Ваксы какой-то кусок, похожий на обломок нелепой красной маски.

Вакса лежал неподвижно, будто манекен. Косте казалось, что реальность истончается до сна. Он

вдруг заметил, что неправдоподобно белые глаза смотрят с красной маски прямо на него. Прозрачные, вымытые до дна шоком. Смотрят спокойно и серьезно.

– Шас, голубчик, шас, анестезиолог уже идет, – приговаривал хирург. – Идет же? Разбудили его? Наташа! – Он вдруг обернулся и наткнулся на Костю. – Вы кто? Как вошли? Наташа, кто это? Наташа! – Он приподнимался на цыпочки и наклонялся, будто пытался помочь голосу обойти Костю. – Уйдите сейчас же, это стерильная процедура! Наташа!!!

В двери протиснулась неправдоподобных размеров медсестра. Оглядела Костю стальным взглядом, и не успел он охнуть, как оказался за дверью в раскладном кресле со стаканом воды, остро пахнувшей хлоркой.

– Ч-что случилось? Что с Андреем?

– Друг?

– Враг, – выпалил он прежде, чем успел подумать.

– Ты что здесь забыл, враг?

– Жена рожает на третьем, привез час назад.

– А-а-а...

Костя уткнулся взглядом в хирургическую пиажму с корабликами.

– Так что с Андреем?

– С купавинского моста упал, нашли в сухом русле под эстакадой. Ударился о заграждение и вылетел. – Как с моста?

– А так. Задел кто. Или ослепил. Да мало ли. Может, сам сиганул. Не жилец.

Костя вышел в холл приемного, сел на вытертое до блеска деревянное кресло и попытался нащупать родившееся внутри чувство, распутать, разобрать его на волокна и назвать. Злость? Жалость? Посидев, кинулся в уборную. Чтобы разогнать едкий дух смеси нечистот, дезинфекта и табачного дыма, распахнул окно настежь, впусив запахи мокрого леса и тающих сугробов. Ополоснул лицо ледяной водой и посмотрел в зеркало с отколотым краем. Что это? Облегчение? Грусть? Вина?

Нет.

Он чувствовал только радость освобождения. Яркое, большое и стыдное счастье. Сидел в приемном, оглушенный, пока не выбежала из родильного медсестра, маленькая, в хирургическом халате не по размеру. Кричала: «Близнецы!» Никогда он не думал, что один человек имеет право на такое счастье.

Не имеет.

Диагноз появился не сразу, но с Гошей с самого начала что-то было не так, особенно это было заметно по сравнению с Саней. С годами различий ме-

жду мальчиками становилось все больше, и каждый раз, проезжая по мосту, Костя думал о той ночи, ощущал эхо радости, чувствовал гордость за Сашу и отчаянный страх за Гошу. К мосту тянуло. Если он долго не появлялся, мост приходил во сне. Чем хуже становилось Гоше, тем темнее было на мосту. Последние недели снилась темнота, битая на тысячи звезд, осколки фонарей и плеск волн. Под мостом темно. Ветер срывает капюшон, закладывает уши и перехватывает горло. В кармане больше нет камня, но он и не нужен: вода пришла. Последние мартовские льдины, едва всплывая мутно-белыми боками, переваливаясь, всасывались под мост и появлялись снова, уже по заднему борту, и медленно растворялись во тьме.

В кармане завибрировал телефон. На экране над подпрыгивающей зеленой трубкой всплыла фотография Сани. Костя быстро поднес телефон к уху:

- Саша? Ты дома? Мне очень нужно поговорить с тобой...
- Пап, я поступил! Прошел по олимпиаде. На следующей неделе надо будет ехать в Москву на награждение победителей!
- Я так за тебя... – Дыхание перехватило, Костя склонился над заграждением моста и чуть не выронил телефон.
- ...Буду ждать дома!

В свисте ветра Костя слышал крики птиц. Ему чудились птенцы, падающие и разбивающиеся о камни.

Над школьным крыльцом, где Гоша так часто встречал Саню из школы, все так же висит старое гнездо, край его давно уже снова цел. Каждый год, когда зацветает белым чубушник у школьных ворот, там новые жильцы. В начале июня голоса птенцов тонкие и зовущие. Услышит ли их Саня, выходя из школы под слепящее солнце?

Костя знал уже сейчас.

Он стоял, как замороженный, глядя вниз. В этом году сюда дотянули федеральную трассу на Москву, и она нырнула под мост, туда, где он никогда не видел реки. И теперь она пришла, сияя красно-желтыми боками. Обогнула город, глевший на горизонте призрачно и тускло, и понеслась дальше, к покрытому мраком горизонту.



АКВАРИУМ



АЛЕКСАНДР ГРАНОВСКИЙ
Врач. Окончил Литературный институт имени Горького, прозаик.
Автор семи книг прозы, составитель ряда сборников. Лауреат Пушкинской премии за роман «Амарок, или Последняя игра» (2021). Шорт-лист Премии Бабеля (2018, 2019), финалист

Премии «Антоновна 45+» (2019), лауреат конкурса «Русское слово Украины», дипломант международного Волошинского конкурса, лауреат конкурса «Московского номсомольца» и других. Тенсты переведены на английский, немецкий и французский языки. Член Союза Писателей России.

Мне нравится, как она смотрит. Словно заглядывает в глаза. В ее зеленоватых, цвета моря зрачках замечая свое крохотное отражение.

– Анджей!.. – говорит она, перевирая на свой лад «Андрей».

Она много еще чего говорит, но из всего сказанного я понимаю только «Анджей» и терпеливо жду, когда Юрка начнет переводить.

– Ева сказала, что ей очень приятно с тобой познакомиться. Она хочет изучать русский, чтобы читать Достоевского и Чехова, и очень любит песни Высоцкого, хотя и не все понимает... Но в них есть какая-то энергетика, а это можно почувствовать на любом языке. А еще она любит Чеслава Немена и «Червоны гитары». А из серьезной музыки, конечно, Моцарта и Пендеревского, но и Шопена тоже... Только если его исполняют на скрипке, или, как Чеслав Немен, на органе.

Кажется, я киваю, но продолжаю пялиться в ее глаза, словно с первой секунды между нами успели установиться свои, только нам двоим понятные отношения, а голос Юрки все отдаляется и отдаляется и становится шелестом песка и моря, хотя Юрка почему-то продолжает оставаться здесь, наверное, чтобы сказать главное.

– Сегодня вечером мы собираемся в курзал на танцы... – И тут же пшекает что-то ей по-польски, чтобы вернуть голос на свое место, которое уже

занято другим. Но он еще этого не понял и смеется.

– Па!.. – грациозно делает она ручкой, и в уголках ее влажных губ для меня два маленьких приветно-обещания – две скользнувшие улыбки, понятные только нам двоим.

Но Юрка уже обнимает ее за плечи и уводит в неизбежность дня, который пахнет морем.

Они уже давно смешались с толпами лениво фланирующих полуголых курортников, которые по незыблемому праву лета заполняют все пляжи и набережную, а я все еще продолжаю стоять, словно прикованный к этому месту словом «танцы».

Дело в том, что до этого дня танцы для меня были как для глухонемого музыка, эдакой непознаваемой и потому непознанной вещью в себе, о которой нам туманно рассказывала наша историчка Писистрата (прозванная так по имени знаменитого афинского тирана). Еще Писистрата говорила, что даже инквизиция запрещала танцы под страхом смертной казни, справедливо полагая, что в отплясывающего вселяется дьявол. В чем, без сомнения, можно убедиться, хотя бы понаблюдав за «аквариумом» в курзале.

«Аквариумом» в нашем курортном городке называли танцплощадку, которая была окружена железными прутьями, как арена цирка, когда на нее выпускали хищников. В разгар курортного сезона

«хищников» обычно набивалось под завязку, и за ними, расположившись по другую сторону прутьев, наблюдали гуляющие бабушки и дедушки, и совсем молодые папы, и мамы с детьми.

Некоторые из деток, которые пошустрее, то и дело норовили просунуть головы сквозь прутья и тут же получали от своих папуж на орехи за, что называется, пренебрежение опасностью.

А оркестр на полную мощность наяривал какой-нибудь очередной шлягер лета, и рано или поздно наступал тот томительный момент истины, когда в какого-нибудь «хищника» и в самом деле вселялся дьявол – так его, сердешного, начинало колбасить и выкручивать, и сразу всех охватывала цепная реакция, и начиналось главное зрелище, на которое и приходил поглазеть народ.

Причем считалось хорошим тоном, когда какой-нибудь отчаянно смелый в глубине толпы «хищник» испускал эдакий глас вопиющего в курзале, который тут же с энтузиазмом подхватывали остальные «хищники», и прижавшиеся к прутьям отважные детки в испуге шарахались в объятия своих пап и мам, которые смеялись и говорили: «Во дадут!..» Хотя еще не так давно в этом же «аквариуме» сами небось выдавали не хуже, в чем, видимо, и заключалась преемственность поколений курзала, а значит, и вообще жизни.

Все это называлось загадочным словом «балдеть». Я даже нарочно заглянул в словарь Даля, чтобы уточнить его значение, но, скорее всего, во времена Даля этого слова еще не знали.

Были только: болда – деревянная дубина, фаллос, болдырка – женщина, и болдежник – пьяница. Интересная закономерность, если вдуматься, которую вполне логично и завершал «балдеж».

Билет на танцы в «аквариум» стоил всего полтинник – совсем ничего, если этот полтинник есть, и целое состояние, если его нет. Просить у мамы в долг даже не поворачивался язык – тем более что просил уже вчера, и не полтинник, а гораздо больше – на одну редкую книжку для развития умственных способностей по методу японца Киосо. Надо только согласиться с Киосо, что человек – это сумма всех животных, вместе взятых, и чтобы лучше узнать себя, очень полезно побывать в шкуре каждой твари, от лягушки до тигра. Я тут же попробовал побывать в шкуре зайца, но выдержал всего полдня, пока дома не кончилась морковка. Но и этого хватило, чтобы почувствовать себя венцом творения, у которого есть по крайней мере руки. А заячьими лапками ни морковку помыть, ни «Лунную сонату» сыграть.

Можно, конечно, заработать на бутылках. Прочитать, к примеру, санаторские кустарники, которые являются естественным накопителем бутылок, – феномен, еще недостаточно изученный наукой и «аликами». Если повезет – рубля три в кармане. Главное – знать места.

Дома я подошел к зеркалу и долго изучал себя вблизи. Попробовал пробор на другую сторону, тщательно ободрал облупившийся от загара нос и выдавил несколько угрей.

Жалкие кустики усов за лето окончательно выцвели и казались скорее намеком, чем вторичным половым признаком.

Попробовал несколько обаятельных улыбок на выбор, но так и не остановился ни на одной. Наверное, у меня еще недоразвита улыбательная мышца, чего нельзя сказать о японцах и о Киосо в частности, – словно он предъявляет к осмотру все свои тридцать два роскошных зуба. А может, Киосо в этот момент просто находился в образе тигра?

Затем я извлек из тумбы запыленный рижский проигрыватель, который мама в последние годы почему-то включала все реже и реже. В коробке хранились пластинки. На них словно была записана вся причудливая история маминой жизни с ее взлетами и падениями, от бессмертной «Лав стори» до песен неувыдающей Гурченко, которую мама держала в уме за идеал.

Я перебирал пластинки, пока не остановил свой выбор на одной – с хохочущим негром на обложке. Наверное, он маме тоже чем-то нравился, такой морщинистый и хохочущий, несмотря ни на что. Даже на свой простуженный хриплый голос, которым негр умудрялся петь. Но ему тут же на помощь приходил саксофон, а потом вступал ударник... и через несколько минут начинало казаться, что плывешь на старом колесном пароходике по великой реке Миссисипи, и плыть еще долго-долго, и вполне естественно желание немного поразмять ноги.

Сперва они просто притопывали в такт огромному вращающемуся пароходному колесу, но постепенно вспоминали затаенную в себе память и двигались уже смелее... А смеялся негр от неуклюжести моих стараний. Он играл и пел, словно стараясь на языке саксофона объяснить что-то невыразимое словами, и, самое интересное, – ноги начинали и в самом деле что-то понимать. И где-то через два часа моего путешествия по Миссисипи мне наконец открылся главный принцип движения... Я так и назвал его: принцип велосипеда. Словно крутишь педали невидимого велосипеда, и от твоих усилий

старенький колесный пароход увозит хохочущего негра по великой реке к курзалу.

Окрыленный достигнутыми успехами, я старательно погладил брюки и отправился на поиски бутылок. Сегодня мне решительно везло – все задуманное сбывалось, и в этом не было никакого чуда. Главное – чувствовать в себе ритм жизни и помогать его почувствовать другим. Об этом и пел хрипловатым голосом хохочущий негр по имени Дюк Эллингтон.

И вот я поджидаю Юрку с Евой возле входа в курзал. В моем кармане около двух рублей – все, что удалось заработать на урожае бутылок. И я не то чтобы волнуюсь... от неудобства все. Туфли, которые еще зимой были впору, сейчас немилосердно жмут, и в голове сразу всплывает перл из моего любимого Марти Ларни: «Если хочешь избавиться от мелких мук и неприятностей – купи себе тесные ботинки или женись».

Совет жениться, несмотря на всю его привлекательность, подразумевал минимум два условия: а) наличие хотя бы потенциальной невесты и б) наличие паспорта. Ни того ни другого у меня пока не было. Другое дело тесные ботинки...

И с этой минуты я не могу ни о чем другом думать, кроме ботинок, туфель и прочей обуви, которую человечество довело до такого совершенства, что она способна влиять не только на настроение, но и на саму жизнь. Наверное, и у Наполеона немилосердно жали сапоги, поэтому он вечно спешил – сперва он спешил стать императором, а потом выигрывать сражения, чтобы побыстрее снять ненавистные сапоги и размять онемевшие пальцы, а когда начались холода – начал спешить еще больше и, отогревшись как следует в Москве (которую потому и поджег, чтобы отогреться), уже вынужден был отступать, бежать, в буквальном смысле не чувствуя под собой ног (сапог) от холода и неудобства. А за всем этим стоял какой-нибудь бесследно канувший в историю сапожник Жак.

Впрочем, может, Наполеон просто спешил к своей Жозефине – у каждого великого мужчины есть такая женщина, к которой спешат сквозь победы и поражения. Мою женщину зовут Ева. У нее пепельные волосы и зеленые глаза... Мне хочется, чтобы она только мне одному говорила «Анджей» и чтобы рядом не было Юрки. Он хоть и в самом деле какой-то ее родственник, но ведет себя... Такие вещи сразу чувствуешь. Вдобавок Юрка знает язык, что дает ему неоспоримое преимущество.

«Бардзо ми пшеме... ходжме на спацер...» – с мысленным удовольствием передразниваю Юрку, но от этого почему-то не легче.

А вот, кажется, и они. Я заметил их первым и с радостью устремился навстречу. Но по Юркиному лицу пробегает тень. Не ожидал... Юрка не ожидал, что я сподоблюсь на танцы. А сболтнул он про танцы из хвастовства. Мол, каждый сверчок знай свой шесток. Это ему сегодня идти в «аквариум» танцевать и болтать по-польски с красивой девушкой. Наверное, думает, откуда я взялся на его голову, третий лишний и все такое, но Ева тоже что-то такое почувствовала или поняла. «Анджей!» – слетает с ее встревоженных губ.

Мне не нужен сейчас переводчик, но Юрка все равно переводит. Чтобы подчеркнуть свое превосходство, разрушить улыбку и это ее «Анджей». На Юрке новенькие, по последней моде джинсы, на ногах кроссовки, которые делают шаги такими легкими и бесшумными.

– Ева спросила, где твоя девушка. Она почему-то думала, что ты придешь со своей девушкой.

Чем и интересны Юркины переводы, что с ходу не догадаешься, где перевод, а где просто отсебятина.

– Скажи, что разошлись, как в море корабли, – для Юрки я и отвечаю, но он зачем-то снова переводит, и я ловлю на себе ее сочувственный взгляд.

Я даже начинаю вспоминать, где мог видеть такой или похожий взгляд раньше – в старой книжке про Буратино. Только тогда Еву звали Мальвиной и у нее были голубые волосы, а Юрку – папой Карло. Вот возьмет сейчас и скажет:

– Ах, бедный, бедный Буратино – у него совсем нет девушки! – и погладит меня по грустным щекам, вытирая слезы.

Но вместо этого Ева-Мальвина выдала нам из своей сумочки по пластику жвачки, и, дружно двигая челюстями, мы направились в курзал.

В «аквариуме» уже играла музыка, вокруг косяками кружили девушки и сосредоточенно курили парни. Они словно готовились к чему-то важному и находились как бы в предстартовой лихорадке.

– Бы-стрый... та-нец!.. – нараспев объявил ведущий, и оркестр заиграл самую забойную свою вещь под названием «Венера».

У входа сразу образовалась толчея, и в «аквариум» повалил народ.

Юрка тоже почему-то разволновался и побежал к кассам.

– Пойдем посмотрим, – предложил я Еве, чтобы не молчать.

Мы протискиваемся между зрителями и стоим совсем рядом. Ее волосы пахнут морем и вообще... Польшей. Так пахнет и должна пахнуть таинствен-

ная заграница, которая производит таких девушек и еще много чего интересного.

– У вас тоже так танцуют? – нарочно наклоняюсь ближе, чтобы еще раз вдохнуть томительный запах невозможного.

– Так, праве, – поворачивается она сказать, и ее губы почти касаются моих. – Так, праве, – повторяют губы. – И у меня даже на какой-то миг перехватывает дыхание.

Но сзади нас уже разыскивает Юрка. Он размахивает добытыми билетами и кричит: «Я что, искать вас должен?» И Юрка тут же потащил Еву в «аквариум». Он даже билет забыл мне купить.

Пришлось вернуться за билетом. Но за мое отсутствие на танцевальном пятачке ничего не успело измениться. Каждый топтался в одиночку, лишь один Юрка был с Евой. Сперва они просто танцевали вместе, а потом начали выделять такое, что вокруг них образовали круг и даже прихлопывали в ладоши. Со стороны казалось, что Юрка дергает и вертит Еву, как хочет. Мне оставалось из принципа вертеть свой «велосипед» где-то рядом и делать вид, что это занятие мне очень нравится.

Наконец танец на верхней ноте оборвался, и Ева, смеясь и без сил, повалилась Юрке на грудь. Он тоже смеялся и что-то говорил ей по-польски, а потом красиво, как в каком-то итальянском фильме, дул ей в лицо. На них все смотрели, и Юрка знал, что все смотрят.

«Видал, как эта парочка рок отбацила», – заvistливо произнес кто-то рядом, и я отчетливо почувствовал, что у меня снова жмут туфли. Но сейчас они жмут не только ноги, они как бы обхватывают меня всего, до самого горла...

– Следующим номером нашей программы... медленный танец, – гнусавым голосом объявил ведущий. – Приглашают... – Он выдержал полную значенная паузу и со свойственной ведущим игривостью закончил: – Танец обоюдного приглашения!

Но Юрке и объявлять не требовалось – знал весь репертуар наперечет. Ведущий еще только начинал первую половину своего заранее заготовленного экспромта, а Юрка уже первым приглашал Еву.

Тут еще оркестр заиграл мою любимую вещь. Я мог слушать ее часами, но трубача хватало всего на несколько минут. В некоторых местах его труба забиралась до таких отчаянных высот, что, казалось, не выдержит и разорвется на множество звенящих осколков.

У меня и мысли не было кого-либо приглашать, но и смотреть на танцующих Юрку с Евой и слушать трубача, который словно играл для них двоих...

«Приглашу! – решил внезапно. – Пусть она видит...»

Подразумевалось, что Ева увидит мой успех и где-то даже пожалеет, что согласилась снова танцевать с Юркой.

Рассеянно прошелся взглядом по пустым по периметру скамейкам. Все уже давно пригласили всех, и лишь одно костлявое существо не знало, куда себя девать в оголенном пространстве.

– Фрося, – обрадованно сказало существо, и мне почему-то захотелось спросить, кто ее папа и мама.

Дома в моем дневнике был даже записан афоризм для таких вот тяжелых случаев. «Сын – это обнаженная тайна отца». Фридрих Ницше. Насчет дочери Фридрих как бы оставляет простор воображению. Был там и еще один латинский афоризм: «Поздно приходящему – кости», но применять его к Фросе почему-то не хотелось.

– Вы читали «Великого Гэтсби?» – спросил я с неприужденностью опытного Растиньяка.

В то время я по наивности считал, что раз уж пригласил девушку танцевать – обязан ее развлекать и кормить мыслями, как в романах знакомых мне классиков прошлого и настоящего.

– Читала, – неожиданно сказало существо по имени Фрося, словно речь шла о какой-нибудь книжке для внеклассного чтения.

Это был первый правильный ответ в моей пока еще небогатой практике.

И я сразу посмотрел на Фросю другими глазами. При ближайшем рассмотрении она оказалась вовсе не так костлява, как на фоне пустых скамеек, которые, возможно, и накладывали отпечаток. Обычная девушка-акселерат, каких сейчас много – сантиметров на пять выше меня, именно таких специально отбирают в Берлинский балет, и со всего «аквариума» наверняка отобрали бы только Фросю.

Но, как правило, хорошие идеи почему-то посещают тех, кому они и даром не нужны, а поделиться идеей насчет балета с Фросей – все равно что сказать не совсем умному человеку, что он не совсем умный.

Я, когда волнуясь, всегда много думаю. А пока я думаю, трубач выдувает из трубы последний воздух, Фрося благополучно возвращается на свое место. Она на голову выше остальных претенденток в Берлинский балет и сейчас с высоты своих парящих глаз явно следит за моей особой.

– Ты, старик, делаешь успехи! – встречает меня Юрка.

Он подмигивает и щерит свои неровные зубы. Где-то мне попало, что неровные зубы – признак

тайных пороков. Жаль, этой подробности не знает Ева, а открыть ей глаза – Юрка мне потом в жизни не простит.

До чего нестерпимо хочется оглянуться – наверное, Фрося меня всю гипнотизирует взглядом, но если оглянуться, то Юрка с Евой все поймут, и мне будет почему-то стыдно.

– Для нашей гостьи из Польши, пани Евы, оркестр исполняет песню из репертуара... «Червони гитары!» – Ведущий выдерживает, пока в динамиках не погаснет эхо, и добавляет главное: – Приглашают девушки...

Девушки, конечно, приглашают. Время летит незаметно, и во всем броуновском движении «аквариума» постепенно нарастает напряжение. Юрка выразительно смотрит на Еву, которая так же выразительно смотрит на меня: «Анджей...»

В каком-то сомнамбулическом состоянии я отвожу Еву подальше от Юрки и чувствую легкое прикосновение ее рук и тела. А когда, как бы случайно, касаюсь ее щеки и это прикосновение остается с нами... мне хочется зажмуриться. Нас тогда никто не увидит – ни Юрка, ни... Кстати, он сейчас уже танцует с Фросей. Вот она, ирония судьбы! Наверное, Фрося шла пригласить меня, но подвернулся Юрка, который, естественно, ничего о «Великом Гэтсби» не знал и сейчас для Фроси просто как надувная кукла даже со всеми его польскими штучками.

Я не знаю, что такое благодать, о которой любит говорить моя бабушка, когда ей особенно хорошо, наверное, что-то вроде просветления души, которая чувствует приближение счастья, и тогда начинаешь видеть мир словно сквозь розовые очки...

Сквозь свои розовые очки я вижу, в общем-то, неплохого парня Юрку. А точнее, Фросю. Юрка должен розоветь где-то рядом. И сразу чувствую в своей груди два сердца, которые в какую-то секунду сливаются в одно. Они стучат, пока играет музыка...

Но музыка вот-вот должна закончиться, и тогда... О «тогда» я не хочу и думать. Знаю только, что должен что-то сделать, причем именно сейчас, в эти последние минуты музыки. Наверное, что-то пригрезилось и Еве. И мы, не сговариваясь, выскальзываем в ночь.

С непривычки глаза различают лишь танцующие огоньки.словно с ветки на ветку перепархивают светящиеся мухи. Это огоньки сигарет «второй смены». А значит, скоро перерыв и надо спешить. Ведь мы беглецы, а у беглецов всегда должны быть преследователи. Для нас это, конечно же, Юрка с Фросей, которые волею случая оказались сообщниками, и теперь им ничего не остается, как преследовать

нас по пятам. Что-то вроде игры, когда, хочешь не хочешь, а обязан.

Впереди, конечно, Фрося. Она, словно ишейка на поводке, вытягивает вперед свою чуткую голову и тащит за собой Юрку. «Далеко не уйдут!» – подбадривает она сразу сникшего Юрку, и я отчетливо вижу, как светятся в темноте ее глаза. Даже за чем-то заглядываю в глаза Евы, но глаза Евы темны. Они и должны быть темны, как и темны ее губы, которые я не вижу, а как-то сразу чувствую, словно пью уже готовые сорваться с них слова...

Потом мы вспоминаем о погоне снова – не о Юрке с Фросей конкретно, а о темной безликой силе, от которой надо бежать, бежать...

В эту минуту темные аллеи парка напоминают лабиринт без начала и конца. И с каждым шагом в никуда все ближе обступают деревья и неумолимо сужается звездный разрыв неба. Скоро он превратится в звезду, имя которой...

Сейчас я открою Еве самую главную тайну. Об этом знаю только я да бывший учитель физики по фамилии Лялюшкин. Все считали его чуть-чуть не от мира сего. Впрочем, Лялюшкин этого и не пытался скрыть. «Всякий учитель должен быть загадкой, иначе какой из него учитель», – считал Лялюшкин.

Тем летом мы всем классом отправились в горы. В какую-то из ночей все уснули. Только мне сон не шел. Мне и Лялюшкину. Мы сидели у потухшего костра и смотрели на звезды. Никогда потом я не видел столько звезд сразу, и таких огромных, но была среди них и самая-самая...

– Сириус, – словно прочитал мои мысли Лялюшкин, – что называется альма-матер.

Я наивно спросил, что он имеет в виду. Для меня так и осталось загадкой, почему Лялюшкин решил доверить свою тайну мне. Может, потому, что все спали, а я не спал, может, потому, что спросил.

Через год он как-то незаметно исчез в водовороте жизни. Он исчез, а тайна осталась со мной, словно Лялюшкин успел передать эстафету. И чем больше я начинаю думать о случайной неслучайности этого случая, тем более разнужданные мысли невольно посещают мою голову. Иногда мне кажется, даже начинаю понимать, отчего люди сходят с ума. Ведь скажи кому, что жизнь на Землю пришла с Сириуса, и со мной все станет ясно, как стало ясно кому-то с Лялюшкиным. Но Еве я расскажу все, ведь в слове «Сириус» мне слышится начало всех начал.

И когда я в который раз нахожу ее губы, чтобы начать свой долгий рассказ о Сириусе, то рефлекторно закрываю глаза, чтобы какой-нибудь далекий родственник с альма-матер не подсматривал, чем

занимаются по ночам на колониальной планете. В эту минуту я чувствую себя рыбой, которую кто-то бесцеремонно разглядывает в аквариуме жизни.

– Анджей... Анджей... Анджей... – Руки Евы зарываются в мои волосы, и я и в самом деле плыву, кувыркаясь, словно в невесомости.

Мы сидим на втором ярусе пляжного солярия. Где-то внизу сонно шелестит море. Потом постепенно начинают гаснуть звезды. И с каждой погасшей звездой во мне будто тоже убывает тепло. Скоро наступит рассвет, и я стану... мы станем – обыкновенными ледышками: холодными и скользкими. Потом постепенно начнет пригревать солнце, и мы незаметно растаем без следа.

Слава богу, вовремя очнувшись от мимолетного кошмара. Впрочем, нос у Евы и в самом деле холодный, как у собаки. В детстве мама по носу определяла, сколько мне еще гулять на улице. Скоро над морем останется последняя звезда – та самая...

Но прежде, чем я решаюсь разбудить Еву, успеваю подумать о множестве вещей сразу: о времени, которое незримым стражем живет в каждом из нас; о маме с бабушкой, которые, наверное, всю ночь не находили себе места и если еще не обратились в милицию, то только потому, что не привыкли в такие места обращаться; о Юрке, который, возможно, тоже ждет, хотя, по моим предположениям, Юрка на такие подвиги не способен.

То вдруг пришло на ум высказывание нашей биологички Гидры, что сон – это состояние пограничное между жизнью и смертью. Раньше я как-то и в смысл не особенно вдавался, а тут вдруг увидел все как бы в новом свете. Ведь так, в сущности, живут многие. Это и наш соседский дед Трохим, который за последние годы проснулся только раз и, посмотрев по телевизору какой-то фильм, решил на всякий случай уснуть снова, до, что называется, лучших времен, я уже не говорю о нашей учительнице по литературе, которая так и прожила всю свою жизнь в девятнадцатом веке...

При мысли о деду Трохиме я почему-то начинаю думать о смерти. И чем больше я о ней думаю... Между прочим, я знаю человека, который в подобной ситуации сошел с ума – он пробовал представить бесконечность. Но сегодня я знаю, что смерти нет. Мы, как всякая материя, живем вечно. Просто время от времени переходим в новое качество. Что-то вроде бесконечного пути к совершенству. А любовь – это и есть искомое совершенство, но не каждый проходит свой путь до конца и рассыпается на атомы, чтобы в новом варианте немислимых сочетаний повторить свою попытку.

А пока Ева еще спит. Она спит на моих руках. Я согреваю ее теплом своих ладоней и вдыхаю запах ее волос. На ее губах блуждает улыбка каких-то снов. Я готов остановить время, чтобы эта минута никогда не кончалась, но вечность, как бездушная воронка, всех затягивает в ночь.

Но вот Ева шевельнулась и открыла глаза. Несколько минут неподвижно смотрит вдаль. Там, за краем голубеющего моря, уже проклюнулась алая полоска. От этого видения Ева спохватывается, словно что-то припоминая. Деловито щелкает замочком сумочки. Встревоженно озирает себя в зеркальце. Резкими движениями расчески отбрасывает со лба волосы. В мои глаза она почему-то старается не смотреть.

Улицы еще пусты, только дворник в желтой куртке самоуглубленно шаркает своей метлой. Потом где-то из глубины утра тишину раздирает первый визг трамвая.

А в скверике возле дома нас угрюмо поджидает Юрка. Он сидит, как нахохленная ночная птица, обхватив себя от холода руками.



ТЕТРАДЬ У МУСОРНЫХ БАКОВ

ЗАПИСКИ ВОРОБЬЁВА



ВЛАДИМИР НРЮНОВ
Родился в 1949 году в селе Пудино Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Работал учителем в сельских школах, в школе колонии строгого режима, сторожем, механиком теле-

визионного ретранслятора в райцентре, в газете Западно-Сибирского речного пароходства. Первый сборник стихов — «С открытым окном» (1989). Автор нескольких сборников стихотворений и книг прозы, книги воспоминаний «Заметки о нашем времени».

Печатался в столичных и региональных журналах, в русскоязычных альманахах Германии «Пилигрим» и «Эдита», в польском альманахе *Aspekty*. Стихи вошли в антологию «Пламень. Современная русская поэзия» (2009). Член Союза российских писателей.

Олег

Сегодня Ольга Николаевна взяла для себя свободный день. Значит, мне надо быть при месте. Может, явится новый возможный автор. А один аксакал точно будет. Надо пролистать его будущую книгу мемуаров. Даже не мемуаров. О чем там ему вспоминать? Но ему хочется придать некую значимость своей жизни. Окончил школу в деревне, но окончил с отличием и наладился в педагогический вуз. Наглядная история о преимуществах социализма, пресловутый социальный лифт. Из самых низов – к высшему образованию. Три года в школе, потом в чиновники райкома партии, а там и до заведующего отделом. Выше не поднялся. Так и до пенсии докатил. Верный функционер системы написал свою историю, когда ему было за восемьдесят, для детей, внуков и правнуков – вот уж точно осмысленный итог долгой жизни.

«Наиболее запомнилась мне смерть Иосифа Виссарионовича Сталина в марте 1953 года. Она была и большим трагическим событием для страны в целом. Авторитет его в народе был чрезвычайно велик. С его именем солдаты шли в бой, под его мудрым руководством страна успешно преодолевала военную разруху, решала проблемы мирового масштаба по укреплению мира во всем мире.

Смерть И.В. Сталина потрясла всю страну. Абсолютное большинство населения СССР с великой

скорбью попрощались с ним. Многие люди плакали, и я тоже.

Вся моя недолгая жизнь была связана с его именем. Про него мы в школе пели песни, рассказывали стихи. У многих возникал вопрос: «А как мы теперь жить будем без Сталина?» Это было трудно представить, потому что все стороны жизни советских людей были связаны с его именем».

Легкий стук в дверь, и появляется старушка. Нет, лучше сказать – пожилая женщина. Аккуратно причесана, длинное серое платье, на шее темные бусы, кажется, дерево. Встаю, приглашаю пройти, садиться. И вот она у стола, рассказывает, что живет неподалеку, учительница, уже на пенсии. Многое ей в сегодняшней жизни непонятно, ко многому приспособилась. Но вот мимо книг, вынесенных к мусорным контейнерам, пройти никак невозможно. Хорошо хоть, не в мусорку кидают. И она уносит эти связки домой, там разбирает книги и пристраивает их по знакомым, стараясь, чтобы это совпадало с их интересами. И, слава богу, получается. Книги обретают новых хозяев. А что-то она себе оставляет.

– Впрочем, простите, я заболталась, – останавливает она себя. – А это уже совсем недавно. Опять связка книг. И женщина мне сказала: это книги соседа-покойника, одиночки. Это она их вынесла: авось кому понадобятся. Я забираю и среди

Тетрадь Воробьева

Итак, о чем же я хочу написать? О том, как мой друг тридцати с лишним лет все выбирал себе невесту и никак не мог жениться. Тоже мне – тема. Но, впрочем, Чехов не из таких ли мелочей... Но у Чехова еще было что-то кроме... Сумбур у меня в голове, мешанина. Однако это лучше, чем если бы ничего там не было вовсе. Интересно ли кому-то читать про нашу жизнь? А ведь мы были, мы пока еще есть. И нас волновали в пору ранней юности и события в Праге 1968 года, как бы ни перевирали их наши вузовские наставники. И высадка американцев на Луну в 69-м, как бы скупно и снисходительно ни писали об этом наши газеты. Но не чуждо было и вечное: лай собаки в ночи, головокружение от поцелуя, радость встречи с другом.

Да, герои мои не из тех, на ком мир держится. Они из той группки, что стоит возле белых колонн торжественного здания (по всему – университета). Один уверенно смотрит вперед, сжимая в руке книгу – источник знаний, другой поднял лицо в небо по примеру героя Толстого, третий, напротив, опустил глаза долу – он весь в сомнении: как жить, где его точка опоры...

Мы видели, что все вокруг нас не такое уж прочное и надежное, каким его нам изображали. Так в чем же спасение, на какие резервы можно рассчитывать. Нам казались тут союзниками американцы: Сэлинджер, Хемингуэй, Апдайк... Тогдашний любимец – француз Экзюпери. Есть внутренние душевные ресурсы, есть простая природная сопротивляемость социальной фальши.

Встречался мне в одной компании человек – вертлявый такой и, как говорили в ту пору, *умный*. Любил он сбивать серьезность спора внезапными репликами. И в этот раз:

– А слышали ли вы, что есть такой Генри Миллер? Тоже по Парижам ошивался со Скоттом и Хэмом. Тоже, наверное, их проблемами озадачивался. А потом посмотрел на это дело так: в жизни этой не больше логики, чем на бильярдном столе. Красиво? Так вот это не шестерка какая-нибудь – это великий Генри Миллер.

Откуда он вытянул имя, что знал о нем? Поди проверь – что за фигура. Но вульгарный цинизм этого Миллера в исполнении нашего *умничьего* мне не понравился.

* * *

Я написал историю о злоключениях Коли Ремонко. Написал о том, как маленький человек пы-

тается отстаивать свое достоинство. Как не дают ему спокойно жить после смерти матери в окраинной халупе-насыпушке. Как по привычке тащится к нему материн собутыльник, вымогая на портвешок или предлагая пить вместе. А Коля, беззащитный и мягкий, из последних сил отстаивает свою свободу. Он – баянист в заводской самодеятельности – живет в мире музыки, выкраивая рубли на симфонические концерты.

Я отнес рассказ на рецензию в местную писательскую организацию. И вот сидел у массивного старого стола, а передо мной, окруженный папками с рукописями, располагался писатель-профессионал. Ежик с проседью, неглупые живые глаза. Он говорил:

– Ну так о чем же ваша история? О том, как жить в ладах с совестью, да? А эти эпизоды о городском юродивом, эти анекдотические приключения? Вам жалко его, что ли?

Я кивнул. Писатель насмешливо прищурился:

– А я бы написал это с жесткой иронией. Молодой человек не может себя защитить? Чуть ли какая! Других сюжетов у вас как-то не возникало, что ли? Откуда эти?

– «Жизнь, должно быть, подсказала, наплела судьба сама», – пришли в голову строки стихотворения Арсения Тарковского.

Да, писателю явно не понравилось. Но дельного совета он не даст. И вдруг ясно предстало: самому надо определенно знать, что я хочу сделать.

* * *

Быстро опротивела газета. Это совсем не то, что было раньше, когда в студенчестве время от времени заносил туда свои заметки. Теперь это – каждодневная рутина. Я не пишу передовицы или отчеты с разных конференций. И все равно ничего хорошего не получается. Мои размышления *по поводу* какого-то события спокойно и безжалостно отрубает ответсекретарь. Творческие планы непременно сверяются с теми, кто «наверху». Можно ли писать об этом художнике? Нет, лучше о том, который на выставке «Сибирь социалистическая» представил большое полотно «К новым буровым». Помню я это полотно. Художник не пожалел красок в самом прикладном смысле – мы с товарищем отколупнули на память по кусочку от зеленой травы под сапогами геологов.

Живые диалоги газета вообще не любит. Цифры, факты и зарисовка погоды для оживления.

Мишка всех вовлек в умную игру. Кто-то бросал шариковую ручку в газету, все с неподдельным интересом изучали дырку – какую же букву поразил стержень ручки. «Бэ!» – кричал Мишка. И все принимались писать на своих клочках бумаги. Потом оглашали: «Бабель, Бальзак, Белль, Бунин, Баратынский...» Так они развлекались. Пусть шумят. Не хватало только, чтобы они расклеились. Бригадир обул сапоги, надел грязный и просторный плащ, вылез из вагончика.

Влажная трава у двери прошла по сапогам. Березы вздрагивали под каплями. Дождь был не в радость, не было в нем летней свежести и безалаберности. Нудный, отупляющий дождь. А ведь только начало августа. Лето, конечно, еще будет. Будет уверенное созревание плодов и августовские запахи грибов и горячей травы. Вернется запах клубничных полей вокруг вагончика.

Вот в каком благословенном месте разместились они, возводя корпус для будущего птицеводства. Сейчас серая коробка недостроенного птичника странно гармонировала с нависшим серым небом.

Бригадир шел к прорабу и думал: «Даже если дождь сейчас кончится, дорога не просохнет до следующего утра. Машина и кран не пройдут. Подошла пора перекрытий, нужно выходить на кровлю. Сколько мы возьмем с объекта, если оставим его недостроенным? Скоро ребятам дергать на занятия».

Бригада эта воспринималась им несколько иронично. Здесь не было бывалых калымщиков, с которыми он привык иметь дело. Это были парни-гуманитарии, с которыми он общался больше по зиме у них в общежитии. Или на занятиях литературного объединения. Но на его предложение что-то заработать летом все они так охотно откликнулись, что куда же было деваться. И сейчас он думал, что никак нельзя их подвести, что они ему вполне доверились. Они не сачкуют, они рассчитывают на заработанные рубли купить себе новые рубашки и башмаки, кто-то нацелился на джинсы или польскую добротную и модную куртку.

Прораб был мужиком неплохим. Он с пониманием слушал бригадира, но помочь ничем не мог. Трактор на объект не придет – сломался. Да и на пилораме сбой – брус забрали на ремонт клуба, завтра, может быть, только примутся пилить для птичника.

Бригадир уходил, пил пиво на окраине поселка, шел к своим юным товарищам.

Издали было слышно:

– Стивенсон! Есть! Сартр? Есть! А у тебя? Смоллетт! Ух ты, победил, эрудит!

Бригадир забирался в вагончик, скидывал сырой плащ. Парни меняли род занятий. Мишка тихо на-

певал любимый романс «Я ехала домой», и получалось у него трогательно и проникновенно. Витька открывал книгу под названием «Запад – Восток». Остальные листали что-то свое.

Бригадир брал ручку, чистый листок, садился в угол и записывал:

*Вода свежа, спокойна, глубока.
Прекрасна нездоровая калина.*

Это был пока набросок. Записывал и то, что уже вполне складывалось в картинку:

*Издали, из-за Уртам,
Тянулась радуга до туч,
Картавил гром и, как подбранок,
Валился дождь, певуч.*

*Он падал истоиво и сладко,
Как послесловие к любви.
Гордьясь красивой посадкой,
Шел катер по Оби.*

Так красиво – Уртам – называлось село невдалеке от их сегодняшнего калыма. И Обь катила свои серые воды тоже не так далеко. И, позволяя ребятам расслабиться, он вместе с ними приходил на обский берег, и они плавали, валялись на песке...

По зиме общение с филологами продолжится. И у него будет что прочитать на встречах с университетскими стихотворцами.

Но сегодня – другие заботы.

Олег

Тетрадь Воробьева сблизил нас с отцом. Я не скажу, что мы с ним слишком отдалились друг от друга. Но надо признаться: общение наше было во многом дежурным, не выходящим за пределы домашних дел и забот, которых и было-то немного. И все-таки своя семья занимала меня гораздо больше. Теперь, когда жена Ольга и сын Глеб уже почти неделю гостили у ее мамы в Краснодарском крае и когда появилась на свет эта тетрадь, мы постоянно говорили с отцом. Я больше слушал. Отец вспоминал давнее время.

– Ты знаешь, меня, видимо, можно считать классическим конформистом. Даже в пору студенческого свободолюбия я почти не ввязывался в споры, что кипели в комнатах общежития. Я тогда уже был участником научных кружков, выбирал для себя темы будущих, сугубо научных занятий. Эта борьба за свободу самовыражения мне была совершенно чужда. Оттого самые крутые, как вы

нынче говорите, самые радикальные ребята меня даже отчасти презирали. Но не Василий. Мы с ним любили поэзию. Я – старую русскую, начиная от Державина, он – больше то, что называют Серебряным веком. Бывали у нас прогулки по городу. Тогда мы читали друг другу наизусть. Он очень любил закоулки, старые деревянные дома – да и кто их не любит? Те, что сейчас помаленьку уходят с карты города. Вася и сам сочинял стихи, но свое считал сырым, подражательным, не обнародовал.

Помнишь у него рассказ о бригадире калымщиков? Я его тоже знал. Там, в общежитии, и познакомились, в комнате Василия. Колоритная фигура! Во-первых, внешне: окладистая черная борода, горящие глаза. Красивый голос, он умел подать свои стихи. Да они и были крепкие, звучные. Помню, Вася ему завидовал. Так вот, этот поэт, Федор его звали, никаких попыток куда-то пробиться, напечататься не делал. И никак этим не кичился, просто говорил, что не играет в такие игры.

И вот в те годы приехал в наш город Евтушенко, тогда вполне в цвете славы. Полный зал во дворце зрелищ и спорта. Общение со студенческой братией. И в нашем литобъединении тоже. Читали ребята ему свои стишки. И Федор там оказался, прочел среди прочих. А Евтух просил его читать еще и еще. Вскричал в восторге, что прославит на всю страну, увез с собою подборку, адрес в записную книжку черкнул. Ну я тебе скажу: последствий не было. Но авторитет Феда, и без того высокий, только укрепился. Это я к чему? Федор любил Васиных стихи, уверял, что тот вырастет в серьезного поэта, надо только не лениться, работать. Мне кажется, Вася к нему прислушивался. Но целиком стихам не отдался, сохранил какую-то разбросанность...

Ну вот. Выпуск наш, как ты знаешь, пришелся на год Московской олимпиады и смерти Высоцкого. Мне предложили аспирантуру. Вася устроился тоже, по тем представлениям, совсем неплохо. Взяли в молодежную газету. Он во студенчестве там печатал материалы о поэтических вечерах, поручали ему интервью с режиссерами, актерами театров, приезжавшими к нам на гастроли, знали, что он сделает грамотно. Но работать в штате редакции было явно не для него. А в чем был его главный интерес, я так и не узнал.

Года через три встретил его на улице, и он признался, что бросил бы это в любой день и час. Однако же, как писали в старину, судьбе было угодно, чтобы не бросил. Именно эта опротивевшая газета и сделала ему лучший, наверное, подарок его жизни.

В каком-то селе он зашел в библиотеку и влюбился в девушку-библиотекаршу, вчерашнюю школьницу. Нет, говорил он потом, не влюбился, а сразу, с ходу полюбил. Большинство из наших уже были женаты, а кое-кто и не по первому разу.

– Ты видел его избранницу? – спросил я. – Чем она его пленила?

– Встретил я их на органном концерте, – сказал отец. – Мы с твоей мамой на входе в зал их встретили. Вася светился весь. Те, кто с ними чаще виделись, говорили: ну просто вторую молодость переживал.

– Папа, ты про нее скажи.

– А, ну да. Красивая была девушка. И глаза – умные и живые. Это запомнилось.

Я попросил его рассказать все, что он знает о жизни Василия после женитьбы и дальше. И вот что я узнал. Жили они в «однёшке», которую он получил от редакции. Видимо, потому и влачил газетчину, что неловко было после этого сразу бросить. Наверняка светило бы расширение жилплощади, если бы Василий не попал в историю. Теперь она известна как «дело книжников». Про это даже фильм сняли на нашей независимой телестудии. Читали люди запрещенную тогда литературу, а под запретом были не только Солженицын и журнал «Континент», что понятно, но и ненапечатанные у нас вещи Платонова и «Собачье сердце» Булгакова. И Набоков, собрание сочинений которого сейчас стоит на моей полке. Такой вот бред недавней поры.

А среди читателей был и товарищ отца – университетский преподаватель. Он-то и рассказал отцу, что Василий вел себя в этом деле достойно. Там, в КГБ, их склоняли к тому, чтобы они покаялись и осудили главных «виновников», тех, кто эту литературу привозил, кто их «вовлекал». Так вот Василий там сказал, что он, по его разумению, имеет право читать все, что напечатано. И на этом настаивал. Трое причастных к этому делу получили реальные сроки. Василия с работы уволили. Устроился он – сокурсник помог – в один техникум преподавать историю. В их семье родилась дочь. Вскоре в стране настали перемены. В эти годы подборки стихотворений Василия Воробьева напечатали центральные журналы. А работал он в том же техникуме, преобразованном в колледж.

– Ну вот, – вздохнул отец, подступая к самому тяжелому. – Несколько лет назад жена его и дочь поехали летом в ее родное село к матери в гости. И там, на дороге, в автобус въехал КамАЗ. Водитель автобуса и трое пассажиров – насмерть.

И вряд ли можно устроить дальнейшую жизнь так хорошо, что можно было бы удовлетвориться морально, даже достигнув достаточно материального, изменив, поломав то, что было создано вашим коротким совместным прошлым.

И они... в числе троих. И с тех дней Вася сошел с рельсов. Техникум он оставил. Свою невеликую пенсию, скажем прямо, пропивал. Что тут можно было поделаться? Бывал он у меня несколько раз. Выставлял я бутылку, пили. Потом увещевать его пытался. Не понравилось ему – и перестал заходить.

Ну, Олежка, ты помнишь, конечно, как мама твоя быстро сгорела в своей болезни? Разве не любил я ее? Сильно любил. И тоже в алкоголь окунулся. Но вынырнул – надо было жить дальше.

- Все-таки, папа, тут немного другой случай.
- Да, конечно, я понимаю.

Последняя запись в тетради Воробьева

И что мы в этой жизни значим?
Теперь уж каждому по вере.
Погребена с великим плачем
Невосполнимая потеря.

Были в моей жизни увлечения. Кажется, я всегда понимал их временность, что ли. А в случае с тобой как произошло? Сам я вышел на это или вынесло какой оказией? Но главное: не пропустил. И вот – совпало. Когда ты появилась, сразу возникло понимание, нет, ощущение твоей *необходимости*. Именно необходимости.

Не знаю, в первую ли встречу, в следующую ли я полюбил безоглядно. Сразу понял, что это не из тех влюбленностей, которые случались прежде. Ни-

когда до этого не думал о создании семьи, о желании, что называется, вместе с кем-то идти по жизни. А тут понял, что это серьезно. Каким образом? Чутьем, что ли.

В лесу, на поле, у реки ты могла назвать по имени любое дерево, кустарник, цветок и травинку. Любую! Откуда это? Ссылалась на бабушку, маму. Мы ходили на луга, собирали зверобой и душицу. Ты заваривала их в удивительно точной пропорции с чаем (пусть даже второсортным грузинским), и получалось душисто и вкусно.

Как быстро ты создавала замечательные обеды из тех продуктов, которые мы могли себе позволить! В магазинах почти ничего, а рынок не по карману. Это было одним из твоих чудес – суп из ничего. Как бы мы жили на наши заработки без этого твоего умения? А мы еще и не отказывали себе в хороших книгах, пластинках, а после ночных купаний в реке нередко открывали красное сухое вино – «Медвежья кровь» или что-то другое.

Нет, наши годы не были безоблачны. Вдруг мне показалось, что жизнь движется по какому-то кругу, бежит по заданной колее. Вспомнил Ахматову: «Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого потекла она...» Пришло ощущение истощенности пребывания вместе. Может быть, такое бывает у всех. Но посчитал нужным не врать и себе, и тебе. А что значит «не врать»? Не забыть тяжелых ссор от непонимания. А ты поняла, почувствовала, какой это может обернуться бедой.

Никогда не забуду, как ты плакала после каких-то моих необдуманных слов. Плакала в голос, навзрыд, а потом тише, глядя на меня так, как будто это – прощание. Я стал успокаивать тебя какими-то нелепыми словами. И ты сказала вдруг: «Как ты не понимаешь, что нам нельзя расставаться?» Я залопотал что-то виноватое. И тогда ты улыбнулась – никогда не забыть – сначала холодно, отчужденно. Опустила лицо, потом снова улыбнулась, глядя на меня с надеждой.

Тут пришло письмо от твоей мамы. В Татьяне Семеновне было то, чего недоставало мне в родной матери: понимание другого человека, желание понять, чем живет этот другой. Она читала то, что читали мы, слушала нашу музыку, наши песни. Помню ее лицо, когда Камбурова пела Окуджаву: «Дождик осенний, поплачь обо мне...»

Ты, конечно, не могла не поделиться с нею тем нездоровым, что происходило между нами. Оно сохранилось – это ее письмо. Почувяв неладное, она так хотела спасти наш союз, она находила какие-то христианские аргументы, просила подумать, не

СОЗДАНИЕ СПЕКТАКЛЯ

РАССКАЗ



НОНСТАНТИН КУПРИЯНОВ
Родился в 1988 году в Москве. Он очил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «международное право» и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького. Живет

и работает в Сан-Диего (Калифорния). Проза опубликована в журналах «Знамя», «Волга», «Октябрь», «Нева», «Москва», «День и ночь» и др. Лауреат журнала «Знамя» (2017), премии имени Марна Алданова (нонкурс на лучшую повесть на русском языке,

написанную автором, проживающим за границей России, 2017), премии «Лицей» имени А.С. Пушкина (2018, проза, 1-е место). В 2019 году отдельной книгой изданы роман «Желание исчезнуть» и повесть «Новая реальность».

Изумленными глазами смотрят рамы оставленных домиков на идиллический средиземноморский пейзаж, оранжевые черепицы потемнели от времени и вбирают жар, зеленью пузыряются пологие склоны, превращаются к подножиям дальним в синеву, подернутую дымкой и туманом, еще не исчезнувшим после ледяного утра. Невнятно, но прекрасно: действительно ли это желанный Тихий друг или еще один спадающий в земную пропасть склон, еще одна долина, подобная той, где я сейчас, и откуда виды на прочие долины севера и юга раскрываются, откуда мерещится благодаря силе здорового вдоха, что держишь великие пространства на загорелой ладони, владеешь ими с вершины, приятно овеванной октябрьским ветерком. Впрочем, и они владеют тобой.

Близится пора совершать работу. Я узнаю девушку, которой предписано работать сегодня и следующий сезон. С собой в ладу или в разладе она прожила уже двадцать семь сладких лет, размешанных редкой горестью, о которой однажды расскажет. Следующий год волнителен: настоящая работа, ее очередь. Трудовую квоту она сумела использовать в последний момент. И теперь смотрит в свой две тысячи сто двадцать первый с желанием, сердце замирает, она оборачивается на свой две тысячи сто двадцатый как на вереницу тяжелых превращений, но выходит оттуда счастливой, держит в уме фантазию о сладких следующих семи годах.

Девушка думает: «Я счастлива, мама, пусть еще вчера ты принесла в мой мир боль, сегодня я забираю тебя в свое счастье, давай рядом посидим? Здесь на лужайке, спадающей по юго-восточному склону, среди ноющего зноя найдется чуть тени, я подвинусь, чтоб тебе было место. Жаль, что свела нас смерть, но хотя бы так. На этот разговор не выйти по-другому, а сегодня на то и следующий день – двадцать седьмое октября, – чтобы я не чувствовала никакой сцепки с тем, что ты сказала. В туман превращается кровь из раны, я не присваиваю ее и не принадлежу вчерашнему, я знаю, что есть общая боль, не выпить мне из нее больше предопределенного.

Мама, я утром поспешно ушла, не рассказала тебе главного: работой девушки будет в следующем году создавать спектакли для театра Санта-Барбары. Захолустный городок на побережье Тихого океана, его исторический центр – древняя миссия, фундамент которой пережил двадцать семь крупных землетрясений, но местами сохранился в целости, и у порога того, что когда-то украшало открыточные виды, я разбила свой скоротечный лагерь, в полдень двадцать седьмого числа, за день до того, как рана моя затянется полностью. А полвека назад, когда ты была молодая и не помышляла, что выйдут в огромный мир из тебя трое, отсюда отхлынула жизнь, домики, прежде спускавшиеся ули-

цами-террасами до парков вдоль побережья, заброшены, проданы сталкерам за бесценок, превращены пилигримами во временные храмы; в некоторых зажигают ночью свечи, воскуривают благовония, поют затемненные молитвы, призывая богов, которым лучше бы не приходиться в невинное место, совсем слабенько мерцает некогда славный городок белой привилегированной касты. Сейчас тут все подвергнуто регарденизации: дорога, которой могли бы мы приехать сюда, превращена в розовую аллею, подписаны кусты в этой глуши заботливой садовницей-машиной: “Слава” – двадцатый, “Китайский поцелуй” – тринадцатый, “Омега” – минус пятый. Я шла розовой аллеей, бывшей междугородной трассой, жарким и алым выпал предшествующий привалу час; опускала нос в тепло бутонов, пока не привел искус благоуханий к руинам древнехристианской миссии, историческому склону, с вершины которого завидела впервые мираж большой воды, узнала, что к вечеру, если продолжу идти, неминуемо достигну пристанища. Впрочем, эта “вершина” – не более чем подножие иного, большего холма, с которого я спустилась, и все для того, чтобы двадцать восьмого октября, завтра, канула рана, забылось острие того, что ты сказала, остались нежность, благодарность, радость. Мама, как радостно, что сидишь ты теперь со мной, делишь медитацию привала, наблюдаем обе за трудом девушки-работницы, в которую превращает меня спуск.

Дерево, дающее нам тень, подписано: “Оливка” – минус седьмой. Санта-Барбара – похоже, ультрамодное захолустье теперь, изменилось изрядно с моего последнего сюда спуска. Говорят, три тысячи горожан пытаются заново вдохнуть жизнь и ставку делают на молодежь. Им не нравится, что бывшие дворцы бывшей знати без спросу занимают пилигримы, беженцы-игуаны, трупоеды и прочий “сброд”, как именуют они его, – серый люд без касты и расы, движущийся медленной цепью караванов на юг, в вольные пустыни, превращающиеся силой перемен в леса и сады. Чтобы получить тут место работницы театра, я отправила заявку и оказалась одной из первых кандидаток. Местные создали вакансию для работников-людей в начале октября: было нас четыреста претенденток на место, и вот октябрь гаснет безвозвратно, место превратилось в мое место, я превращаюсь в девушку-работницу, в двадцать первом выпало мне работать, создавать спектакли, и все волнения рассеяны, торжествует солнце радости. Не чудо ли?..

Как всегда, девушка моя заскочила в последний вагон. Ведь в ноябре уже надо сообщить, куда

устроился, либо ждать следующей квоты. Следующая бы случилась не раньше две тысячи сто двадцать седьмого, мне бы тогда было уже тридцать три. Пока я спускалась, это казалось так неблизко, но на целую половину дня стало меньше времени до этого года. А я ведь кое-что знаю о нем, своем предпоследнем годе, мы с мамой давно перестали обсуждать: ее взгляд меркнет, когда она вспоминает, но это решенный и пройденный вопрос, и мы идем дальше, две молодые подружки; мама моя очень молода, только вторая молодость ее зацветает, ей жить еще и жить, нашей мамочке, я не отниму у нее ни часа на размышления о дурном.

Раньше, во времени, где жила героиня моего будущего первого спектакля, ученая Полина К., работать не было привилегией. Мне очень жаль, мама, что ты зачерпнула того времени: когда труд не мог быть вопросом выбора или личной заслуги, а был демоном утренним, скручивающим в трубочку желудок. Благодаря ране моей мамы, нанесенной вынужденным трудом в первой ее молодости, я кое-что знаю о своей Полине К., такой вот бóльшой парадокс, я бы лучше разрубила его и все придумала из головы. Но благодаря тебе я расскажу о ней, мама.

Сперва поблагодарить должна: если бы не наш разговор двадцать шестого, я бы не встала сегодня спозаранку, не зашнуровала походные свои сапожки, не отправилась в путь. Не было бы созерцателя у второй, через октябрь протекающей весны, что мне предстала, когда ранним утром первый побег пустило негорячее солнце по склону, приветствуя меня, одинокую пилигримку, сапожки которой позвякивают легкими бубенчиками, купленными на кельнском рынке в зарю первой моей молодости и последней любви. Не будь этой ранки, одной из множества ран, что проложат меня в лучшую женщину уже скоро, так бы и валялась, разваренная негой и безвременьем, и до самой зимы, может, не спустилась бы по склону и не увидела, как тут они на новомодный лад дают растениям индивидуальные имена и маркируют по новому стилю дни их рождения. Да, этот новый стиль – последний писк моды, взятый зеленым правительством, чтобы подчеркнуть, как мы отличаемся от игуан, поедателей собак. По новому стилю я родилась не в две тысячи девяносто третьем, а в минус седьмом, мы одногодки со славной Оливкой, давшей нам сегодняшнее место привала.

Мама, мама... кричит теперь моя девушка, получившая работу, напуганная тем, что мамина тень никак не садится рядом... Не капризничай, малышка, ты уже совсем взрослая, уж по маминим-то меркам

точно. Тебе просто надо еще немножко продышаться, дать вдоху-выдоху войти в зенит. Конечно, мама вчера нанесла тебе рану. И нужно время. Очень больно. Очень, надо потерпеть: эта кровь стечет, туманом нестрашным розовым сделается, а потом выйдет в небо и прольется бесцветным дождиком в дали, где не узнают ничего о ней, на том боль и превратится. Гурума учит: “Всему свое время, все разворачивается во времени, ничего не происходит сразу, кроме рефлекса. Первый рефлекс – это боль, поэтому второй рефлекс – бежать от боли. Но на то мы не животные и не поедатели животных, чтоб не идти за первым рефлексом, а стойко провожать его”.

Нежась в счастье, голову утопив в платье на коленях матери, отдаю воспоминание о ране наивной своей девушке, что пишет теперь о ней спектакль – о чем-то, чего никогда она не переживала и что в ней никогда не болело и не превращалось, с чем связь имеет она божественную, творческую. Двадцать шестого числа явилась мама сказать двадцатисемилетней дочке, что давеча умер младший брат ее папы Алекса, то есть девушкин двоюродный дедушка. Мама сказала об этом спокойно, практически без эмоций, но за ее тихим голосом стояло столько скорби, что девушка заплакала – никто не должен сносить весть о смерти в семье так, словно это прогноз погоды. Да, каждый день в Калифорнии солнечно. Было так и сто лет тому назад, где жила героиня спектакля, Полиночка К., но что с того? Имею ли я право не плакать из-за смерти, если смерть и сегодня случается каждые четырнадцать секунд, хотя число наше продолжает таять, и регенерация ускоряется, и каждое новорожденное дерево получает имя умершего четырнадцать секунд назад?..

Мама сказала без чувства, и тем рана наша глубже: “Не стало дедушки Влада”. Раненная этим наивная девушка вспомнила, как мало и давно горевала о дедушке Алексее и бабушке Елене. Теперь же всех троих нет, вырезана из бытия целая строчка, поколение-фрактал. Никогда они не посадят свои деревья, не дадут им имена, не проживут какие-нибудь значимые или малозначительные превращения. Девушка вспархивает с верхней ветви Оливки, исчезает в синей ране огромного облака, пронзенного солнцем, привал наш затягивается, боль птичка уносит в клюве; Гурума бормочет в подкасте мантиру, мои губы повторяют за ней.

Героиня спектакля, что созревает во мне, пишет статью, вот уже три года пишет она статью, хотя задумывала изначально пьесу, но пьеса оказалась слишком тяжеловесна, слишком обвешана конструк-

тивными требованиями, и тогда, на полпути, она задумала огромный роман, в тридцать три авторских листа, – в двадцатые годы двадцать первого века, такие снова, в последний раз, вошли в моду, – а моя героиня – утонченная модница, арийка, белоснежная девушка, сократила замысел до статьи. Как я мечтаю о том, чтобы, сняв все фильтры, быть однажды хоть в половину чистой, как она, – Полина из поколения, где была еще белизна; это чуть ли не первое, почему я захотела ставить именно о ней спектакли, я так залюбовалась ею на видеointервью, которое крутили ночью по бесплатному каналу “Ностальжи”, было мне пять; и вот она уже годы в моем сердце, я давно понимаю, что люблю ее куда шире, чем за одну лишь идеальную белизну, отточенность тела, и хорошо бы она третьей примостилась со мной и мамой в тени доброй Оливки; но я не стану утруждать ее, в конце концов, много работы грядет в следующем году, весь мой следующий год будет отдан работе над Полиной, я говорила?.. – конечно, говорила, весь привал этот в прохладе Оливки будет про предвкушение работы, написанные спектаклей, только это и крутится в моем сознании двадцать седьмого числа, рана вчерашняя промыта, а завтра затянется и превратится, лишь сладкая радость близящейся работы циркулирует теперь. Ведь я с детства мечтала писать спектакли, мне не приходилось этого скрывать или маскировать за дурацкими названиями карьер, которые таким, как моя Полиночка К., волочить доводилось на себе, чтоб прокормиться и не спать под мостами, в заплеванных, заблеваных подворотнях, боясь умереть (люди тогда умирали каждые ноль целых восемь десятых секунды, притом они были такие свободные: могли рожать хоть по двенадцать раз, хоть по двадцать, а могли единственный раз, и с возлюбленными могли встречаться, ведь море людей существовало, а могли, – сердце замирает от радости за них – вовсе не рожать!), и в промежутках между изнуряющей работой она писала свою статью, о боже, я совсем забыла, с чего начала... Да, три года заняла у нее работа над статьей о фрактальном разделении на “наивных авторов и авторок” (в финальной версии – “теория наивных авторок”, статья защищена перед комиссией университета Сан-Франциско в две тысячи двадцать четвертом году): о тех сущностях, кто внутри авторов подлинно создает спектакли, книги, кинематограф. Знакомы с ними мы, “авторы”, обычно слабо и скоротечно, подразумеваем за ними двойничество, хотя вернее смотреть на это теперь так, что это мы – их цветные двойники в трехмерном пространстве, им же

никогда не выбраться из двухмерности текстов, из участи протекать прямыми ясными смыслами.

Занятно, что чем больше углубляюсь в образы своей любимой эпохи – двадцатые годы прошлого века, – тем больше понимаю про себя, но, кажется, перестаю понимать их. Дедушка Алекс, например: сто лет назад, в такой же солнечный октябрь, построил наш семейный дом в Калифорнии. Вскоре там поселятся его брат с сестрой: дедушка Влад и бабушка Елена, были они из Европы. Лет пять назад мне казалось, будто я так хорошо понимаю дедушку Алекса!.. Будто сопереживаю его ранам, знаю их как свои линии на руке: эмиграция, оторванность от семьи, мамы с папой, брата с сестрой, отсутствие надежды встретить любимую, языковой барьер, не позволявший ему реализоваться, отсутствие профессиональной перспективы, – не хватало языка, да и Машина уже тогда стала занимать соответствующие позиции. Но чужая рана, хоть истекла из океана общей боли, что держим на своих плечах, всегда заперта особой личной печатью, преступать которую не под силу людям (так говорит Гурума). Это детская моя наивность играла, когда казалось, что я понимаю его. А потом он умер, и все во мне сжалось от смерти, наконец-то кровь из личной раны отрезвила меня. Я горевала целый год, уехала... куда сперва?.. Помню, надолго застряла в Кельне, я влюбилась, но даже это как в тумане, все как в тумане, девочка не ставила сроков, ждала бестрепетно, пока рассеется. Все однажды превращается в иное, так и тут – ровно, как учила Гурума, – меня разбудило осознание-превращение горя: я не понимаю его. Нас с дедушкой вяжет в один род кровь, но не эмоция – она исключительно моя, мертвые сняли бремя, принадлежит оно области времени и личности; мы же избрали безнадежно разойтись на тропях истории, оставив друг другу лишь туманные маяки, систему обозначений, по которой при тонком слухе, при остром зрении узнаем нечто непроизнесенное, когда песня, книга, стих посмертный – достаточно глубоко вонзятся в нас, – но все же не более того.

Я не знаю деда Алекса и почему ему могло быть больно. И вкус раны его другой, чем у меня. Это умерший год назад старик, я сижу на кровати, душ принимает мой любовник Алекс, он настолько близко, что я буквально ощущаю, как за стеной движутся его руки, за струями воды, которой скоро умыться и мне, если только не уйду навек; и хотя мне в сто раз родней по крови старик Алекс, эмигрант из России, основавший ветку нашей семьи, на которой сижу, свесив босые ноги посреди кельнского дождливого октября, мне в тысячу раз понятнее

лохматый проходимец Алекс двадцати семи лет, с которым завтра мы условились выбрать наше первое дерево и посадить его ближайшей весной, солнечным днем – такая легковесная помолвка наших дней – не то что настоящие помолвки моих любимых жителей прошлого века: с кольцом с огромным бессмысленным камнем, с бурей эмоций, ночью страсти. Короче, ничегошеньки я не могу знать о столетней давности, если людей этих больше нет. Время умерло в них, точка жирная поставлена в череде их превращений, дальше мне превращать эмоции о них; и доведется сидеть под деревом, позабывшую горе девочку видеть, сочиняющую, тщеславную, занятую “работой”, занятую тем, чтоб вспоминать. А из кельнского октября я встала и, не собрав вещи, ушла дальше, повзрослела, узнала, что такое туман памяти; Гурума кивнула мне, не спрашивая, – она совершенно ясновидящая, я вижу это ясно, – почувствовала без гордости, как одна из девочек, ею инициированных, переходит в девушку, слезами превращенную, а девушка проснется женщиной, кровью превращенной, а девушка-авторка меж ними записывает в бессловесный спектакль, танцем рассказывающий: *“Нет сил вынести чью-либо смерть, никакой жертвы не будет достаточно, все исчезает, превращается, это общая наша с деревьями участь... Я могу лишь не нести смерть дальше, могу выплакать ее до последней капли, – таких привилегий (плакать-плакать, сколько нужно, и вдруг узнать, что прошлое прошло навсегда) не было у моих бедненьких дедушек с бабушкой, у моей мамы и братьев ее, – а у меня есть, я могу узнать птичий восторг от зрящего в горе меновеня: дождь льет – восторг!.. зной испепеляет крылья мои – восторг!.. туман ляжет вот-вот на долгую ночь с долгой утренней прохладой – восторг!.. но когда я выплачу по-птичьи все, то солнце взойдет, ослепительное в своей юности, умоюсь я солнцем, став обратно человеком без груза, от соленой влаги очищу щеки; и та же самая меланхолическая музыка механического пианино (играет машина, ведь людей-музыкантов в Кельне теперь дефицит – слишком близко проходит фронт с игуанами, и самых чувственных давно собрала в горсть кладбищ горесть войны), что вязала мою первую любовь с первым Алексом, преобразается вдруг, и из бесконечной тоски литься начинает поток бесконечного счастья”*. Привал накануне работы длится, не уловить каждого движения не бывающего неподвижным мира. Оливка поддерживает спину теплым прежним стволом, и прохладна ее молодая тень; не посаженное нами с юным Алексом дерево звали бы Оливкой – так мы, не заговаривая,

почувствовали контур будущего, но не создали его, уберегли от участи превратиться в память, – тоже по-своему прогрессивно. Алекс так и остался тем утром мальчиком в душе, а я вышла девушкой, почтой переслал мне вещи с воздушным поцелуем, пустой открыткой без рисунка, по тогдашней моде, простился нежно со мной, ушел на фронт биться против поедателей собак, в безнадежной схватке превратился в кого-то, кого я не знаю, а я поняла, что созрел путь мой бездетный, путь раннего птичьего отлета, забрала в Калифорнию треть возвращенного приданого, треть пожертвовала храму Гурумы, треть отправила в детские дома.

Надолго застряла по возвращении, и только смерть деда Влада, последнего деда, подтолкнула меня спуститься наконец с холмов. Мама разбудила меня новостью о смерти: двадцать шестое было число, на третий день хоронят своих мертвецов поедатели мяса, и вот я несу свежую рану и новость на крыльях своих через склоны, где невинны дикие розы, не знакомы с человеческой смертью. Сегодня в походе кажется мне, будто шла целую жизнь, а не каких-то полдюжины утренних часов от предвестия восхода до раскаленного полудня. Этот угасающий город был всегда ближайшим к нашему дому, но я избегала его с тех пор, как узнала о Полинке-кумирке, с той ночи, как узнала, что это был ее город страсти, падения и превращения, и также узнала, что непременно создам ее, вложу себя в нее, сделаю ее своей девушкой, как она – визионерка, писавшая о двадцать втором веке, о моем времени – Эпохе Предчувствия, – часе исполнения заветной мечты о единстве людском посредством океана боли; писавшая чудесные, переносимые на мой нынешний язык стихи о веренице призм и пропорциях всех чувств, через множество созданных авторок-прослоек, – превратила в героиню своего спектакля меня.

И лишь из-за строгости законов-печатей не суждено никогда прикоснуться друг ко другу, пока теперешний склон, упоенный негой, не сведет нас в интимной тени на час, где задумала девушка спектакль. Полина, белоснежная арийка, как хорошо, что ты ушла на пике силы и не снишься мне дряхлой, усомнившейся в сделанном, испачканной рабочим загаром. В четвертом акте спектакля – без слов, танцем одним скроенным, без склеек монтажа, музыки, – очнешься старенькой, прости, но обе мы знаем: это еще одна отслоившаяся личность “наивной авторки”, пробуемая на вкус колебание перед запоздалым самоубийством. Убедись, что нельзя избежать, нельзя не превратиться, нельзя не произнести, чтобы вырваться на свободу:

“Девочка, закрой глаза, когда я закончу говорить, и не рассказывай дальше, я стою тут, потому что Алекс, любовь моей жизни, сманивший меня из Европы сюда, в мерзкую Санта-Барбару, где не кончается ослепительное лето и где я вечно живу под зонтиками, иначе сгорю, прозрачной стану, как вымытая до смерти стрекоза, – Алекс оказался предателем и лжецом. И ложь его всюду на мне, не отмывься... о, мерзость! Я знаю, что сегодня умру, утром это осветилось ясно, и это чистое признание тем, кто будет исследовать, препарировать меня после смерти, кто уже не видит меня ничем иным, как историей, кто не понимает, что я человек с сердцем, мне незачем рассказывать, если не для того, чтобы быть услышанной. Но услышанной быть невозможно, ведь, в первую очередь, нет смысла говорить. Все сказано. И если б были слова, размыкающие проход в свободу от тяжести этой и мерзости, и сладости нектара, сковавшего мои крылья; в свободу из этой повсеместной боли, то они бы давно были подобраны, и не искали бы люди никаких других слов, кроме точно сложенных в песнопение слов освобождающих, а все прочие слова – преданы бы стали презрению. Но нет песни песней, и нет выхода из двухмерной истории о девочке, создающей историю о девушке, создающей историю о женщине. Разной степени очистки можно добиться, работая с шелухой слов, и разной степени глубины бывает ложь, и потому лучшая любовь – это ни разу не сказавшая ничего, только смотревшая на тебя, глаза в глаза. Я думала, вижу такую, я думала: жертвую честью, и репутацией, и карьерой ради такой, все слова вдруг стихли, девочка моя, и хотя я что-то там говорила, лепетала, отраженная в его зрачках, поработанная его объятием одноруким, меня уже не стало, и, чтобы еще иметь силу создавать, я создала массу девочек своих: работающих за троих, борющихся за всех нас, – я понимала, что себя надо освободить от бремени тащить все эти чувства, от бремени структур: абзацев, предложений, глав, сносок, знаков препинания – чистый текст настолько похож на тишину, что не требует обрамления (обременения). Джойс понимал меня, он не писал для меня, ничего не писалось для меня, но он ждал меня; они все ждут, мои учителя, так больно... но наконец-то я принесу им что-то совершенно настоящее – что-то, чего я не сумела вынести, разве это тогда не настоящее? Боль – единственное, в подлинности чего не сомневаюсь, это первое и последнее, за чем посылают нас учителя, а учитель не является раньше, чем готов ученик. Перформанс чертов кончается, и я могу честно сказать: я была стервой, я была гнидой, гадиной, я все украла, даже

Алекса – теперь возмездие наконец-то уравновешивает меня – и даже свое имя, зовут меня не Полина и не я – авторка статей о “наивных авторках”, – ее автором был молодой, многообещающий поэт И. (думала, я и вправду в последних схватках разожму его имя для тебя? Ха-ха-ха!), которого я задушила, как заправская самка богомола, пока он мылся в ванной после секса, которым я довела его до слез: я не желала даться ему, я таила, для чего пришла в его узкую кельнскую келью, хотя знала с первого абзаца, что убью его и заберу его мысли, его славу, что задушу его, умою любовью и водой прозрачной осени; а все смиренно примут его Смерть, ведь умирают сейчас все подряд в ранних двадцатых двадцать первого, за сотню лет до единства священного: не выдерживают, выходят из тел, душатся, стреляются, исчезают на войне, которой не могло быть, но которая совершилась. Не вызвала его смерть вопросов, я так и знала, и мне не выпить воздаяния за нее, я воздам ему в следующем возвращении, в следующей девочке, в которой вернусь, ведь он поэт: поэты, как и непоэтки типа меня, кончают то и дело: от несчастной любви или от счастливой, от того, что любви не осталось, и от того, что секс не представляет ни интереса, ни смысла; и наше поколение будет последним, рождавшим не по разнарядке, а по желанию, и следующие уже не рожают добровольно: лишь по алфавиту и лишь те, кого в концентрационные “рожательные” лагеря заманит Машина, те, которым прочистят как следует мозги религиозным опиумом; а это, пожалуй, был бы мой промысел, ведь до знакомства с теорией “наивных авторок”, которую я украли у задушенного в душе поэта И., я всерьез думала, что стану проповедницей, Гурумой: девочкам стану проповедовать правильность – тупым телочкам из дремучих деревень, годным только на то, чтобы доить телочек на бесконечных игуанских фермах (жалкие красные трупоеды, как же я ненавижу вас напоследок, как умоюсь ненавистью к вам, сжегшим мой Кельн!)... Но случилось иначе, бог насмеялся над планами моими: я забрала теорию из рук мертвого поэта, довела до совершенства (до абсурда); но явится девочка, которая узнает в “наивной авторке” себя, посвятит моей работе девочку свою, пройдет мой путь, из девочки в женщину, из женщины, минуя старушечью гнилую долю, в пламя смерти, финального превращения, и проклянет со мною вместе Алекса: он лгал мне, родная, лгал! Прокляни его, пусть самосожжением кончит. Он не был сиротой, военным, секретным героем войны, грозой игуан, выжившим при смертельной схватке... Не был ничем – лишь похотливым мужичком, заставившим

меня лежать и воровать, достоинство утратить от спазма страсти. Как же я ненавижу тебя, лживый!.. Теперь сдохни, сдохни, сука тупая, предавшая всех, чтоб быть с этой мразью, нет сил продолжать забирать чужие жизни. Но нет, стойте, пощадите!.. Это я, Я! Полина! Останови это, прошу!.. Это не выдуманная наивная авторка, это я воплю здесь, в последнем перформансе, услышите же меня ради бога, услышите, вытащите меня наружу из двухмерной этой ужасающей вязи буквенной, черт вас подери!!!”

Гурума посоветовала не приглашать маму на спектакль, где будут такие ужасные слова, пусть лишь танцем выраженные перед занавесом. Мол, вдруг это напомнит ей отца или еще какую-то рану, о которой я не подозреваю? Мама же совсем другая. С раной работает по-старому и в старых ритмах: все чувствует и проживает, сцепляется с виной и жертвой, висит подолгу, десятками лет, пока крюки вины не истлевают, но она не плачет, моя мамочка нежная, не отпускает это в небытие, и все эти терновые иглы внутри нее, вросены в тело любимое, пахнущее моей мамочкой. Бедная, как не позвать ее на первый созданный мной спектакль?..

Ах, как хорошо, что есть еще время помечтать и не решаться. Есть время посидеть в прохладе под Оливкой, пока не создан ни один из них, да и время разбить лагерь на ночь грядущую есть. Нет нужды спускаться обязательно именно сейчас, сегодня, двадцать седьмого октября, к воде, нет причин торопиться в дом, что примет меня без условий и оплаты, – полупустой особняк большой семьи, населенный одинокой старухой. Ровесница моих дедушек – их поколение нас называет бездельниками: меня называл дед Алекс старшей бездельницей, а также моих братьев, Алекса-младшего и Влада, пока мать не прошипела, что это раны наносит детям – да, нас в роду по трое рождается, и уходим израненные мы по порядку, за старшей следуют младшие; похоже, так родом заведено, но на мне сломается: ведь я не собираюсь никого вынашивать в теле, и в концентрационный лагерь для рожениц я не отправлюсь, мне по жребию выпало в тридцать четыре туда, но я не собираюсь, давно я избрала путь Полины К., героини-наперсницы, я никогда не отдам Машине свое тело, я не игуана, не трупоедка, не красная мразь!..

Занятно, как бы сложилась жизнь Полины, если бы она знала, что не проживет дольше тридцати трех, и что всего два шанса есть у нее поработать, и что всего два года максимум она сумеет отдать своей подлинной страсти – статье и науке, расслаивающимся авторкам, занятым фантазиями двухмерными,

будто возможно что-либо “придумать”, “написать”, “поставить на сцене”?. Знать такое наперед – было бы не по ней. Она была еще из породы страстных, умевших влюбляться, делать.

Я заночую здесь, тени удлиняются, вот-вот обратят склон в водопад ночи, Оливка не нужна мне больше для прохлады. Но я еще до утра побуду с ней. Довольно моей горечи на нас двоих. Нет, деревце мое, я заночую тут, я не твоя мама, но сегодня побуду ею, спою тебе песенку. Слышишь? Наступает час песен деревьям: редкие загораются огоньки в палатках и домах, тянутся нежные колыбельные над вымирающим городом.

Эта ли тоска по неизбежной тишине в уходящих городах так страшит маму, заставляет ее искать сцепки, инструменты для нанесения ран? Невольно пытается она сцепиться со мной и братьями через рану – видит, совсем мало остается до того, как расцепимся навек. Знает: я превращаюсь в женщину, и это последнее превращение, которое ей застать. Понимает: желание причинить боль, дать болью знание – последний акт любви.

Я смотрю на ее фотографию перед сном, в палатке, поставленной под крылом Оливки, и она, вечно молодая, загадочная, подмигивает, рука ее вросла в руку Алекса-отца. Оплакала бы я их, если б давно не кончился спектакль и давно не растворилась бы мертвая тишина вокруг него – обойден вниманием, найден несущественным, даже локальная газетка для трех тысяч подписчиков не нашла повода для заметки в день премьеры, из зрителей присутствовали одни лишь мама, Гурума (по видеосвязи) да слепая хозяйка съемного бесплатного дома с видом на залив и горы.

Вот так все промелькнуло, вот так стремительно превратилось из сладости двадцати семи в холод тридцати четырех сиротских. Какая же смелая была она. Каждого из нас в пять лет знакомят с прообразом великой личности, имя которой мы получаем в дар, чтобы передарить по зрелости первенцу-девелу. В их честь мы вправе однажды сложить свои несмелые стихи, разрезать вены, воспользоваться правом на свободу тела. Сею рану последнюю, собирать кровавый урожай придут уж следующие девочки. Люблю тебя, Полина К., но слишком быстро оказались тридцать четыре года. И вот без мамы идти мне дальше, это превращение в то, чем никогда я не была.

Гляди: сколько крови... Сколько крови!.. И все это утром ледяным тоже делается туманом? Розовым и горьким? Как удивительно. Наивная изумленная авторка умирает, чтобы ты наконец сказала одно

свое подлинное слово. Я не встану на пути твоего превращения. Очнусь, чтобы идти после привала, нальется молодой силой шаг по склону изумрудному, затмит рассудок аромат диких роз. Ветер сух, но прохладен, дыхание мое полнится прохладным счастьем, я иду в ожидающий создательницу спектакль».

P.S.

Стихи деда Влада:

*Мама, как тебе скорбится
В тесной глиняной могилке?
Мне, родимая, не спится,
Дрогнут жилы и поджилки.*

*Снится ли тебе, родная,
Мой денек земного рая?
Я страдаю и ропщу.*

(ноябрь минус двенадцатого года)



КОСТЮМЧИК ДЛЯ ЖЕНЬКИ

ПОВЕСТЬ



НАТАЛЬЯ ВОЛЬНЕЙ
Родилась в Мурманске в 1976 году. Окончила ВГИК (сценарный факультет), Литературный институт имени А. М. Горького. Автор сценария «Нежных встреч» и «Александра Ноллонтай. Дорога к одиночеству».

Автор рассказов «Одна большая любовь и Феллини» (2020, Италия, в книге «Coronavirus vite sospese»), «Ночь Варфоломея» (2021, Германия, сборник «Техника молодежи»), «Подарок вождя» (2020, Москва, сборник «Святочные рассказы»).

К Ларисе в первом классе подошла девочка и сказала: «Знаешь, мы все умрем, поэтому учиться смысла нет». Лариса в это сразу поверила и решила, что учиться она больше не будет. Ей все равно не нравилась школа. Она не любила рано вставать, заплетать косы и тащиться с ранцем по утреннему Мурманску.

Первая учительница была толстой теткой с кудрявой челкой. Ее большой зад, обтянутый синей юбкой, придавал ей величественный вид. Ларисе казалось, что это даже не зад, а две большие заколдованные пещеры, в которых живут красивые синие бабочки, и если пухнуть из рогатки жеваную бумагу, из пещер вылетят эти маленькие бабочки и разлетятся по всему классу. Учительница требовала аккуратно выводить буквы и не заходить за поля. Если не получалось, она начинала кричать и бить указкой по столу. От ее крика закладывало уши.

Придя домой и бросив ранец посередине коридора, Лариса поцеловала мать и спросила:

- Мам, а правда, что мы все умрем и поэтому учиться смысла нет?
- Мама вздохнула.
- Кто тебе об этом сказал?
- Катя. Она сказала, что нет ни одного человека, который бы не умер. Ты знаешь, когда я умру?
- Не думай об этом. Нескоро. Но учиться все равно придется. А теперь мой руки и садись за стол.

Ешь спокойно и не забывай хорошо жевать. Скоро Светочка проснется.

После рождения младшей сестры Светы мать как подменили. Все свое внимание и любовь она стала отдавать младшей дочке. Ларисе казалось, что мама перестала ее любить.

Валентина действительно обожала младшую дочь и считала, что наконец у нее появился смысл жизни. А Лариса с пяти лет стала чувствовать себя ненужной, особенно после одного случая. Они собирались пойти на прогулку. Лариса должна была с коляской ждать на улице мать. В это время Ларисин друг позвал ее кататься на горку. Погода была на редкость солнечная, дети на площадке смеялись и радостно визжали. Лариса не выдержала и побежала к ним, оставив коляску возле подъезда. Соседская девочка подошла с ведерком песка к коляске и, посмотрев на Свету, высыпала на нее песок. Та заорала как резаная. На крик выскочила Валентина, схватила дочку и бросилась с ней домой. Когда Свете промыли глаза и она перестала плакать, Валентина прижала ее к себе. Она очень испугалась, а Света, казалось, уже и забыла, что с ней произошло.

Когда Лариса прибежала домой, Валентина взяла скакалку и отхлестала ее так, что та не могла неделю сидеть. Лариса извивалась под ударами и просила прощения, но мать словно обезумела и не могла

остановиться. С тех пор Лариса перестала любить младшую сестру. Маму она просто боялась. Стоило ей провиниться, та сразу бралась за морской ремень отца и лупила дочь. Это вошло уже в привычку. Свету ни разу не били. Это еще больше заставляло Ларису страдать и думать, что мать ее ненавидит.

Отец Александр Николаевич Макарин был моряком. Он регулярно ходил в плавания, дома бывал пять-шесть месяцев в году. В первый раз Ларису он увидел, когда ей исполнилось полгода, а потом в год. Так и жили: полгода с ним, полгода без него. Как только Лариса привыкала к отцу, он уходил в море.

В свои двадцать шесть лет Александр занимал должность старшего механика, которой обычно добиваются ближе к зрелости. Когда ему было двадцать четыре, он совершил подвиг. Во время сильного шторма сломался рефрижератор на судне, которое возвращалось в порт с рыбой. Штатный механик не смог починить, и дали радиogramму находящимся рядом судам с запросом помочь устранить поломку. А на самом деле это означало: кто сможет принять ответственность за эту ситуацию. Александр тогда был единственным, кто вызвался это сделать. За несколько месяцев до этого случая он штудировал книги по устройству рефрижераторов, потому что мечтал работать на больших судах. Так как никто больше не вызвался ремонтировать, было решено, несмотря на шторм, перебросить молодого механика с другого судна. Александр с трудом, но починил рефрижератор: с третьей попытки тот издал звук, который встретили аплодисментами. Улов был спасен, и команда не осталась без зарплаты. На берег Александр вернулся известным человеком.

Мать всегда ставила отца Ларисе в пример и требовала хорошо учиться и безупречно себя вести. А это было сложно. От своего внутреннего одиночества Лариса уходила в мир грез, где все было по-другому, где она была нужным и важным человеком и никто ее не бил. Когда никого не было дома, она танцевала: ставила пластинку и, стоя перед трюмо, представляла себе, что она на сцене и ей все аплодируют. Эта игра могла длиться часами, пока не раздавался звук открывающейся двери. Лариса выключала проигрыватель, бросалась в свою комнату и делала вид, что читает книжку.

В третьем классе Ларису отобрали в балетную студию. Это стало спасением. Она влюбилась в балет. Быстро пообедав после школы, Лариса бежала в студию. Стоя у станка в черном купальнике, она любовалась собой. Лариса танцевала до десятого класса, но на очередной диспансеризации выяснилось, что у нее порок сердца, и ее из студии от-

числили. Этот день был самым мрачным в ее жизни. Она по-прежнему приходила на занятия и со слезами просила, чтобы ее пустили к станку. Все было бесполезно. Мать тоже страшно переживала, но вместо поддержки твердила, что дочь непутевая и даже сердце у нее плохое, хотя дома та скачет, как лось.

Валентину раздражало, что дочь стала чаще бывать дома. Лариса это чувствовала и не знала, куда себя деть. Ее спасала подруга Катя, у которой можно было пропадать часами. Катя угощала ее заграничным ликером и болгарскими сигаретами. Ларисе нравились эти вечера. Мать Кати София читала им Бродского:

*Ты знаешь, с наступленьем темноты
пытаюсь я прикидывать на глаз,
отсчитывая горе от версты,
пространство, разделяющее нас.*

*И цифры как-то сходятся в слова,
Откуда приближаются к тебе
Смятенье, исходящее от А,
Надежда, исходящая от Б.*

*Два путника, зажав по фонарю,
Одновременно движутся во тьме,
Разлуку умножая на зарю,
Рассчитывая встретиться в уме.*

София тоже была замужем за моряком и очень по нему тосковала. Она говорила, что это большое испытание для женщины – так надолго расставаться с любимым мужем. Слушать ее было интересно, она рассуждала о таких вещах, о которых в доме Ларисы никто не говорил. У Ларисы в семье был культ чистоты и денег. Все детство она слышала про измены отца и думала, что так бывает в каждой семье: муж изменяет и за это откупается деньгами. И только в семье Кати она стала понимать всю дикость этого компромисса. Ведь можно счастливо жить с любимым человеком, ждать его, скучать и с нежностью думать о нем. И никакие деньги не заменят настоящие отношения...

Валентина же всегда радовалась, когда муж уходил в море: она уставала от бесконечного прислуживания Саше и выполнения всех его ЦУ, как она называла его просьбы. Как только муж уходил в плавание, Валя выдерживала три дня, веря в народную примету, а потом затевала генеральную уборку.

Она проворачивала деревянной скалкой в огромной кастрюле скатерти и занавески и потом крахмалила их. А Лариса должна была пылесосить и бесконечно мыть полы: а то вдруг люди придут, а дома грязно.

Лариса огрызнулась.

– К нам из-за твоей стерильности никто не ходит.

Валя в такие моменты сравнивала дочь со своей свекровью Клавдией Ивановной, называла ее грязнулей и добавляла, что у Лариски казачья кровь, глаза такие же, как у Клавы, колючие и недобрые. Лариса отвечала, что гордится своей бабушкой и при первой же возможности обязательно поедет к ней в Уральск.

– Триста лет ты ей нужна! Эта старуха живет в свое удовольствие, как и ее сын. Им вообще никто не интересен, а ты особенно.

– За что ты ее так ненавидишь, мама? – как-то спросила Лариса.

– Молоко на губах не обсохло такие вопросы мне задавать, – в сердцах ответила Валя и дала новое задание.

Света никогда не напоминала Валентине свекровь. С возрастом она ловко научилась управлять матерью, чувствуя, что ей не хватает ласки. Света подходила к ней, обнимала, кладя голову на плечо, и говорила:

– Мамочка, чем тебе помочь? Ляг, родная, отдохни, хочешь – я тебе массаж сделаю... я правда опаздываю, но это ничего, добегу потом.

Валя прижимала к себе дочь, целовала ее.

– Ну что ты, милая, иди, а то опоздаешь. У тебя деньги есть на буфет?

– Мне не надо, спасибо, я же дома поела. Твоя еда не сравнится ни с чем.

Валя брала кошелек и протягивала Свете рубль. Та ловко засовывала его в карман, на прощание еще раз целовала мать и выходила из квартиры.

У них был обычай: Валя всегда стояла у окна и, дождавшись, когда Света выйдет из подъезда, махала ей. Света в ответ посылая воздушный поцелуй. Валя улыбалась и задвигала крахмальную занавеску.

Ларису младшая сестра раздражала своей хитростью, лицемерием и приспособленчеством. Ей часто хотелось врезать сестре за вранье и изворотливость, но она понимала, что все бесполезно, Светка уже не изменится.

* * *

В школе у Ларисы дела шли хорошо. Она любила литературу, биологию и химию. Ее тетрадки были украшением школьной выставки за грамотные и содержательные конспекты. Учителя пророчили ей большое будущее в биологии или химии. Лариса выбрала химию.

Она легко поступила в фармацевтический техникум в Ленинграде и наконец-то почувствовала себя свободной. Учеба давалась ей легко. Отец снял дочери квартиру, чтобы она не жила в общежитии, где, как он считал, «рассадник разврата и женщины пахнут треской». В юности он много времени проводил в мурманском женском общежитии медучилища. Он меньше всего хотел, чтобы дочь вела себя как те женщины, которых он навещал.

Лариса быстро перезнакомилась с неформальной тусовкой молодых людей. Время бежало с ними незаметно. Она посещала квартирники, ходила на танцы и слушала за бутылкой вина заумные речи о «совке» – его ненавидели все, и Лариса как-то быстро поняла, что со всеми его нелепыми запретами и несвободой она его тоже терпеть не может.

Через какое-то время Лариса влюбилась в длинноволосого гитариста ленинградской музыкальной группы. Гитарист, старше ее на восемь лет, ушел к Ларисе от беременной жены, и с ним она узнала все прелести свободной любви. В результате экзамены за третий курс техникума Лариса уже сдать не смогла.

Родители исправно высылали деньги раз в месяц. Лариса звонила им и говорила, что все у нее хорошо, особенно учеба. Она наслаждалась этой жизнью. Волосатый гитарист показал ей знаменитые фильмы, познакомил со своими друзьями, ввел ее в мир легких наркотиков. А потом за ним приехала мать и, схватив за волосы, посадила в такси, назвав Ларису малолетней шлюхой.

Оставшись одна в квартире, Лариса легла на кровать и зарыдала. Ей казалось, что жизнь ее кончена, ничего хорошего больше не будет. Она была уверена, он обязательно вернется: не может же он вот так просто оставить ее. Между ними была такая связь, которую даже его мать не в силах оборвать. И как она вообще посмела приехать сюда? Он принадлежит Ларисе и больше никому. У них было столько планов! Она не сможет без него жить.

Лариса не выходила из квартиры, боясь пропустить его приход. И когда в дверь позвонили, Лариса вскочила и бросилась к двери. Но на пороге вместо гитариста стояла мама.

Оказалось, из техникума позвонили и сообщили, что их дочь не появляется на занятиях уже полгода.

Валентина нашла Ларису зареванной и полностью разбитой. В заросшей грязью квартире был такой бардак, от вида которого у Вали замерло сердце. Она взяла ведро, тряпку и стала убираться. Под кроватью она нашла мужские трусы и, бросив их на кровать, заорала, что она родила шлюху, такую

же, как и ее отец. Лариса равнодушно заметила, что все не так плохо, ведь у нее есть Света, ее любимая дочь. Валя закричала, чтобы Лариса не смела проносить имя этого светлого человека.

– Ты мизинца ее ноги не стоишь!

Лариса попросила оставить ее в покое, ведь мать уже сделала главное – убралась, и теперь можно уезжать обратно. Валя молча выслушала и спокойно ответила, что раз ее отчислили из техникума, они обе уезжают в Мурманск, и это не обсуждается.

Она подносила Ларисину одежду к носу, нюхала, морщилась и по привычке аккуратно складывала стопочкой.

Лариса посмотрела на мать.

– Пожалуйста, оставь меня в покое. Я не хочу никуда ехать. Я устроюсь на работу и буду сама оплачивать квартиру.

– Ты в лицо нам с папой плюнула... Я так надеялась, что ты выучишься и станешь человеком, но, видно, гены берут свое.

– Ты не понимаешь, я должна его дождаться. Я не могу отсюда никуда уехать. Он придет, а меня нет.

– Захочет – найдет. Собирайся!

– Да как он меня найдет, если я в Мурманск уеду?

– Молча! Ты же не на Северный полюс уезжаешь. От Ленинграда до Мурманска два часа лету.

– Я никуда не поеду! Хоть убей меня.

Валя присела на кровать рядом с дочерью. Опустила руки на колени. Посмотрела на Ларису и аккуратно погладила ее по ноге. Лариса лежала, свернувшись в клубок, и старалась не смотреть на мать.

– Ларочка, доченька, надо ехать. Хозяйке я уже позвонила. Напишешь своему парню письмо, укажешь адрес, и он к тебе придет, если между вами такая любовь.

– Куда я ему напишу? – Лариса снова разревелась. – Я даже адреса его не знаю.

– Тогда напишешь ему до востребования. Он придет на почту и увидит твое письмо.

– Он никуда не пойдет... Я его здесь дождусь!

– Боюсь, что не получится, но мы обязательно что-нибудь придумаем.

* * *

Когда они приехали в Мурманск, Лариса увидела, что в родном городе ничего не изменилось. От этого стало еще тоскливее.

Светочка готовилась к поступлению в Ленинградский институт кинофикации на факультет светотехники.

Лариса в порыве откровения сказала ей:

– Сваливай отсюда скорее, существует другая жизнь.

Света обняла крепко сестру.

– Я знаю. Увидимся вечером.

Она поцеловала мать, взяла в шкафу три рубля и сказала, что будет около десяти, но, возможно, задержится: у нее сегодня репетитор. Лариса увидела, как в сумку Света сунула пачку сигарет и короткую юбку. Она выпорхнула из квартиры, помахала маме, которая смотрела в окно, как ее луч света скрывается за поворотом.

Младшая дочь и правда была для Вали лучом света, она поэтому и назвала ее так. Родила она ее легко, на одном дыхании, а с Лариской три дня мучилась. Когда Светке было полтора года, Валя узнала, что Саша изменяет ей с лучшей подругой. Она не ожидала такой подлости от подруги. От Саши ожидала, а вот от подруги нет. Придя домой, она сказала ему, что не хочет больше жить. Валя убралась в квартире, уложила детей и закрылась в ванной.

Саша выбил дверь в ванную в тот момент, когда Валя уже держала лезвие в левой руке.

– Валя, я-то ладно, проживу без тебя, Лариску к матери своей отправлю, ты все равно ее не любишь, а вот что я Свете скажу? Завтра она проснет, пойдет голыми ножками по полу и спросит, где мама. Просто скажи мне, что ей ответить. И вышел.

Валя полежала еще немного в ванной, убрала лезвие, вытерлась белым полотенцем, намазала лицо кремом и зашла в спальню.

– Я буду жить ради детей, – сказала она Саше, – а ты делай что хочешь.

Саша обнял ее и сказал:

– Прости.

Потом снял с нее полотенце, положил на кровать и навалился.

– Только не в меня, – сказала Валя, но было уже поздно.

Через два месяца она пошла на аборт.

Врач, женщина с густыми волосами, убранными под шапочку, с большой бородавкой над верхней губой, участливо спросила Валу:

– Который по счету?

– Восьмой...

– Почему оставить не хотите?

– У меня уже есть две дочки! Мальчика бы оставила...

Когда все было кончено, снимая перчатки, не глядя Вале в глаза, врач проговорила:

– Мальчик...

Это был последний аборт в Валиной жизни. Вместе с тем мальчиком ушла способность Валентины рожать. Когда она это поняла, то успокоилась.

После этого аборта она еще больше полюбила Свету, и еще сильнее ее стала раздражать Лариса, которая с возрастом все чаще напоминала свекровь. Та недолюбливала Валентину и считала ее недостойной своего сына, хотя именно свекровь, узнав о ее беременности, заставила Сашу жениться.

При Саше она старалась не показывать свое равнодушие к старшей дочери, а он все видел и понимал, но ничего поделать не мог. Нужно было бросить море, чтобы в этой семье все пошло по-другому. А без моря он не представлял свою жизнь.

Валю интересовали только деньги и чеки. Она ходила каждый месяц по пропуску в магазин «Альбатрос» с пачкой бонов, выбирала себе и Свете наряды. Ларисе такая роскошь не полагалась. Валентине было жалко тратить драгоценные чеки на старшую дочь: все равно все валяться будет. Один раз наденет, потом залезет в свои старые джинсы, а на новые вещи даже не посмотрит. Все у нее через жопу. Мы со Светочкой каждую вещь бережем, а ей на все наплевать.

Однажды Лариса спросила отца, почему ей никогда не покупают вещи в «Альбатросе». Саша сказал, что поговорит с мамой. Возможно, это какое-то недоразумение.

Вечером после ужина он спросил жену.

- Валюш, почему ты так относишься к Ларисе?
- А ты попробуй поживи с ней, может, поймешь.
- Это несправедливо: одной покупать вещи в «Альбатросе», а другой нет. Поставь себя на ее место.
- Это ты мне будешь про справедливость говорить? Ты еще про совесть вспомни! Она вся в тебя и в твою мать, с ней же невозможно жить!
- Валя, опомнись! Это же твоя дочь! Так нельзя относиться к человеку!
- У меня твои лозунги знаешь где сидят! Я устала! Она швырнула мельхиоровые приборы в раковину.
- Если такой умный, давай разведемся, и ты будешь жить с Лариской. И не видать тебе тогда твоей заграницы как собственных ушей. Вот баба твоя там расстроится, – заключила Валя и вышла из кухни.

Она подошла к окну. Уже наступили белые ночи, и на улице теперь всегда было светло. Ей вспомнилась одна история. Это было лет десять назад. Валентина была с детьми в пионерском лагере в Пицунде. Она специально устроилась воспита-

тельницей, чтобы побыть с детьми на море два месяца. В то лето Саша должен был уйти в рейс через неделю после их отъезда. Но не ушел. А еще через месяц он вызвал Валю телеграммой: «Срочно приезжай. Подробности при встрече. Целую Саша».

Валя вылетела в Мурманск тем же вечером. Когда она зашла в квартиру, то не узнала ее. Все было застелено белыми простынями, в квартире стоял неприятный запах. На кухне, опустив голову, сидел убитый горем Саша. Валя, увидев мужа, вскрикнула: «Что случилось?» Саша бросил на жену потерянный взгляд и сказал: «Сядь!» Валя молча села, ожидая чего-то неприятного.

– Я спас тебя от позора.

Валя, опешив, только и смогла вымолвить:

– От какого позора? О чем ты говоришь?

Саша налил Вале стопку водки. Та ее молча выпила. Саша подошел к окну и посмотрел на двор сухими воспаленными глазами. Выдержал паузу.

– Когда вы уехали, я должен был уйти в море. Но в последний момент судно не сняли с рейда, и наш рейс отложили. А деньги я все потратил... Сама знаешь, сколько я вам на море дал...

Саша быстро, прерывисто перевел дыхание.

– Я знаю, в это сложно поверить, но я был вынужден это сделать, Валя!

Валя с ожиданием смотрела на мужа.

– Что ты натворил, Саша?

– Я сдал детскую семейной паре. И мы все, естественно, пользовались ванной и туалетом. А несколько дней назад я узнал, что мы больны.

– Что? Чем мы больны, Саша? О чем ты говоришь?

Валя приподнялась с табуретки и оперлась руками на стол.

– Сядь, Валя. Это еще не все. Я спас тебя. Я упрямил заведующую КВД не сообщать в лагерь о нашей беде.

– Что? Что ты сказал? Что ты подхватил?

Валя вскочила со стула и заметалась по квартире. Саша бросился за ней и схватил ее за руки.

– Ты хоть понимаешь, что бы говорили про тебя в лагере, если бы тебя вызвали телеграммой из КВД?

Валя со всей силы размахнулась и дала Саше пощечину.

– Ты думаешь, я поверю, что ты сдал комнату в нашей хрущевке и жильцы заразили тебя грязной болезнью?

– Это правда. Меня обокрали, и не было денег. Знакомая пара попросилась пожить у нас неделю за хорошие деньги. Я их впустил.

Валя почти взвыла.

- Я не могу больше! У тебя было в пять раз больше денег, чем у нас, и ты хочешь, чтобы я поверила, что у тебя не было денег? Чем ты заболел?
- Я оказался жертвой этих людей... Больны были они... Но их строго накажут! Я это так не оставлю!
- Ты бы хоть что-то поумней придумал!

Валя внимательно вчитывалась в диагноз, который был написан латинскими буквами на бланке КВД.

- Я не могу понять, что здесь написано...
- А я не могу произнести это вслух...
- Ах ты скотина похотливая!

И Валентина снова ударила Сашу по лицу, потом схватила со стола бутылку и бросила в него. Саша повернулся, бутылка попала в зеркало. Оно вдребезги разбилось.

Она и сейчас испытывала огромный стыд, вспоминая, как каждый день приходила в КВД, опускала глаза под укоризненными взглядами медсестер, делавших болезненные уколы. На эти процедуры она всегда очень тщательно собиралась. Прическа, маникюр, красивая одежда: все для того, чтобы показать, что ее присутствие здесь – какая-то ошибка.

И почему она от него не ушла, почему простила его? Она часто задавала себе этот вопрос и не могла найти ответ.

* * *

В родном доме Лариса не находила себе места. Ее раздражало буквально все, особенно мать с ее страстью к чистоте и порядку. Ларисе хотелось сорвать белые занавески и разбить английский фарфор, на котором они каждый день обедали. В центр комнаты мать выдвигала стол, застилала его скатертью и водружала на середину супницу; потом в ход шли всевозможные тарелки и соусницы. После трапезы посуду мыла Лариса. Она уже отвыкла от местной жесткой воды. Нужно было приложить большие усилия, чтобы смыть с тарелок остатки вонючего хозяйственного мыла. Фарфор противно скрипел в руках. Ох, сколько раз ей хотелось запустить эти тарелки в стену, но Лариса лишь бросала: «Я все убрала» – и быстро покидала квартиру.

По вечерам она ходила в Дом культуры на танцы, чтобы отвлечься от назойливых воспоминаний о гитаристе. Как советовала Валя, она написала ему много писем до востребования, но ответа так и не получила.

В ДК лихо отплясывала ее младшая сестра. Светка была некрасивой, у нее были узкие глаза, маленькая вытянутая голова и острый длинный нос.

Фигурой она тоже не задалась. Полные ноги нелепо выглядывали из-под короткой юбки. Икры у нее были как бутылки, и из-за этого она казалась меньше ростом. Танцевала Светка азартно, абсолютно уверенная в том, что все любят ее. Но успехом у мужчин не пользовалась, чего нельзя было сказать о Ларисе. Та была нарасхват. Лариса полностью растворялась в музыке. Балетная выучка проглядывала во всех ее движениях.

С танцев они возвращались вместе. Лариса заходила первой, чтобы мать ничего не заподозрила.

Светка появлялась минут через пятнадцать, плюхалась на кухне на табуретку, быстро поглощала приготовленный для нее ужин и вдохновенно врила матери, как она устала от занятий.

Та гладила ее по голове и смотрела с любовью. Иногда Валя улавливала на волосах запах никотина. Светка придумывала, что курит либо репетитор, либо кто-то еще. Валя несла флакон духов и прыскала на волосы любимой дочери. Лариса заходила на кухню, смотрела на это любование, и ей хотелось плюнуть.

Перед сном она спрашивала Светку, не стыдно ли ей так врать. Та, зевая и поворачиваясь на другой бок, отвечала, что она не может сделать больно матери.

– Тебе не понять, – заключала Света и проваливалась в глубокий сон.

Напротив дома располагалась школа бухгалтеров, туда и определили Ларису. Однажды в очереди к зубному она познакомилась с разбитной девицей. Та сообщила, что учится на парикмахера. Была в ней какая-то свобода, которую уловила Лариса впервые после возвращения из Ленинграда. Она решила поступить в то же училище. На экзамене нужно было нарисовать форму головы и придумать к ней прическу, с чем Лариса успешно справилась. Дома она врила, что учится в бухгалтерской школе.

В училище Лариса почувствовала себя на своем месте. Ей нравилось учиться стричь, делать «химии» и изучать особенности строения черепа. Через полгода у нее появились первые клиенты, а вместе с ними и первые деньги.

Когда мать узнала, что Лариса бросила школу бухгалтеров и учится на цирюльника, в доме разразился скандал: Валя кричала и обзывала дочь мерзкой девкой, которая считает своим долгом превратить ее жизнь в ад и опозорить семью. Лариса в ответ молчала. В итоге она собрала сумку и выбежала из квартиры, громко хлопнув дверью.

Валя умылась холодной водой, посмотрела в зеркало и, выключив воду, устало вздохнула. Потом она

прошла по квартире, подняла с пола брошенные дочерью вещи, положила их на кровать, задержала внимание на фотографии, где, прижавшись к дереву, стояла Света, бросила взгляд на полку с книгами о Ленине и вспомнила давний случай.

Та зима в Мурманске выдалась на редкость теплой. Снегом замело только ту часть города, где были сопки. Лестница из трехсот ступенек была очень скользкая. Валя осторожно спускалась по скользким ступенькам, крепко держа за руку шестилетнюю Свету. Она готовилась осенью идти в школу, любила книги и книжные магазины, куда они с Валею часто заходили.

В тот день Валя и Света возвращались домой. Они свернули на площадь Пять углов. На улице светились транспаранты «С Новым годом!». От нахлынувшего порыва ветра Валя, сильнее укутавшись в меховой воротник, прибавила шаг. Света заканючила: «Ну что ты меня тянешь, как резинку, давай лучше в книжный магазин пойдем».

И они зашли. Света с детским восторгом сразу подбежала к полкам, где продавались книги о Ленине. Одна из них, в красочном переплете, сразу оказалась у нее в руках, и глаза Светы загорелись. «Мамочка, посмотри, вышла новая книга про Ленина. Давай мы ее купим папе!» Ребенок крепко прижимал к груди книжку в дорогом переплете с красивыми золотыми буквами, еще пахнущую типографской краской. В свои шесть лет она знала все книги про Ленина, которые продавались в магазинах Мурманска. Она держала книгу как великое сокровище, боясь выпустить ее из рук.

– Мама, ты представь: папа приходит с моря, а дома на его полке новая книга о Ленине! Как он обрадуется! Сразу прочитает, а мы ему скажем: «А это мы тебе купили к Новому году».

Валя с грустью посмотрела на дочь и на книгу. С обложки улыбался вождь пролетариата. И ведь не расскажешь дочери, что Саша никогда в жизни эти книги не открывал. Он покупал их и ставил на видное место на книжной полке, чтобы любой входящий мог увидеть, что в этом доме живет коммунист, который почитает Ленина.

Валя вздохнула. Света ни за что не хотела расставаться с этим сокровищем. На обороте стояла цена – три рубля семьдесят пять копеек.

В кошельке последняя пятерка. Завтра опять придется звонить Оле, жене Сашиного брата, и просить деньги в долг. Валя купила книгу, чтобы не разрушать миф о прекрасном отце. Домой она шла в подавленном состоянии. Света радостно щебетала о том, как ее прекрасный папа увидит книгу и бу-

дет очень рад. «Он даже ее не заметит», – про себя подумала Валя и меланхолично что-то ответила дочери.

Дома она разделась и заперлась в ванной. Слезы лились, и вода с огромным напором била в чугунную ванну. Ошеломление от покупки не проходило. Валя посмотрела на себя в зеркало, протерла лицо огуречным лосьоном и выключила воду. Ее размышления о несчастной женской доле прервал истошный детский крик. Валя пулей выскочила из ванной.

На полу валялись книги про Ленина. Света держала в руках двадцатипятирублевые купюры. Плача и всхлипывая, она пыталась объяснить Вале, что хотела вынуть и поставить на видное место новую книгу про Ленина и что когда достала книжку с портретом, упали другие, и теперь она не помнит, как они стояли, а из одной книги выпали деньги, но она не успела увидеть, из какой...

Валя оглядела комнату. На полу были разбросаны сиреневые купюры по 25 рублей. Валя обняла дочь и поцеловала ее. «Я все помню», – сказала она и стала собирать деньги. Сумма оказалось внушительной. «Он опять по пьяни сделал тайник и забыл где», – предположила Валя и стала перелистывать с энтузиазмом оставшуюся библиотеку.

– А что мы ищем? – спросила Света.

«Папину совесть», – чуть не сорвалось у Вали... но, посмотрев на счастливого ребенка, она сказала: – Мы ищем клад. – И они со Светой засмеялись.

Сейчас она посмотрела на эту же книжную полку и вышла из комнаты. «Какой он все-таки подлец и бабник», – подумала она о муже.

Саша был очень красив, остроумен и обаятелен. Он великолепно бил чечетку и красиво танцевал танго. Валя растворялась в нем, когда он обнимал ее за талию и плавно водил в танце. «Доверяй партнеру, чувствуй меня. Я вожу», – говорил он ей, когда только начинал обучать ее танго. Валя понимала, что муж нравится многим женщинам и отвечает им взаимностью. Но стихи он писал только ей. Валя аккуратно открыла полированную дверь серванта из венгерского гарнитура. Ее рука нырнула в выглаженную стопку белья, сложенную по цвету, и сразу нашла белый блокнот. Валя открыла и, в сотый раз вглядываясь в неразборчивый почерк, стала шепотом читать стихи Саши.

*Если сердце потребует властно
Мужской ласки и теплоты,
Не расстрачивай чувств понапрасну,
Не топчи нашей жизни цветы.*

*Сердцем слушай мое признание.
Сядь. Стихи читай не спеша,
В каждой строчке твое дыханье,
В каждом слове моя душа.*

*Моих чувств не измерить мерой.
Пей из строчек любовь мою!
Полон я твоей нежностью, верой,
И поэтому звонко пою!*

*Белой ночью июльской нашей
Поцелуем тебя разбуджу.
Вместе жить и теплее, и краше.
Спи. Любовью твоей дорожу.*

Валя перевернула страницу и стала читать дальше. Она знала все стихи наизусть, но всегда читала как в первый раз. Они ее успокаивали.

ДЛЯ МЕНЯ

В. М.

*Для меня, для других – не знаю,
Когда лаской залита встреча,
Словно в юности ты родная,
Хорошее, природе переча.*

*Я морщинок не замечаю –
Жизни нашей тревожный след.
Без тебя я очень скучаю,
А с тобой мне семнадцать лет.*

НЕ ГРУСТИ

*Снова праздник Восьмое марта,
И ты снова грустишь одна.
Посмотри: тебе скажет карта,
Где качает меня волна.*

*В лицо айсберги дышат холодом,
Под килем судна – Датский пролив.
Где-то ты, где-то милый дом,
Где-то ласковый Кольский залив.*

*Я грущу и скучаю тоже.
Наша жизнь и любовь – не легка:
Ведь не каждая женщина может
Долго ждать и любить моряка.*

*Не грусти и жди – это главное.
И не хмурь непокорную бровь.
Я тебе привезу из плавания
Нерастрченную любовь.*

* * *

*Пишешь: очень грустно порою.
Заштормит море – сердцу тревожно.
Прогуляйся пойдя с детворой,
Не поможет – грусти, это можно.
Мне легко тебя, Валя, понять,
Я и сам чуть не каждый вечер
С тихой грустью люблю вспоминать
Наши первые тихие встречи.*

*Говорю с тобой, спорю, ласкаю..
И как не было двух тысяч миль.
Всех всему учит жизнь морская.
Не волнуясь, на море штиль.*

* * *

Лариса пропадала трое суток. Валя должна была бы волноваться, но она отдыхала от нее. Она чувствовала, что с дочерью все в порядке. «Плохие вести быстро доходят. Раз никто не звонит, значит, все хорошо. Как я устала от ссор».

Она вспомнила, как после очередной ссоры шла по городу в темных очках. Под глазом красовался огромный синяк, который Валя получила, ударившись о косяк, после как Саша ее толкнул. На остановке стояла красивая женщина с изящной фигурой. Валя сразу узнала в ней первую любовь Саши, Маргариту. Ее фотографии она видела у мужа, хотя он и спрятал их среди почетных грамот. Не раздумывая, Валентина подошла к ней.

– Здравствуйте! Вы Маргарита, верно?

Женщина удивилась, посмотрела на нее.

– Да, – протянула она, – а в чем дело? Я вас не узнаю...

– Да, в общем-то, ни в чем. Я жена Александра Макарина. – Валентина сняла очки и с вызовом посмотрела на Маргариту. – Вы правильно сделали, что не вышли за него замуж.

Маргарита ошеломленно посмотрела на Валентину, отметив взглядом ее синяк.

– Вы обознались. Я не знаю никакого Александра Макарина. В первый раз слышу это имя...

– А врать нехорошо!

Валентина быстро надела очки и ушла.

Саша должен был вернуться домой через две недели. «За эти две недели нужно вернуть Лариску», – подумала Валя.

Вечером она спросила Свету, где может быть ее сестра. Света обняла мать и сказала:

– Не волнуйся, Лариска не пропадет. Отдохни лучше без нее. Наверняка у какого-нибудь парня.

Валя прошептала:

– Если она попадет в дурную историю, папа меня убьет.

Света ухмыльнулась:

– Не убьет, сделает все, чтобы на его работе это не отразилось. Не переживай, мамочка!

Она еще раз обняла Валу и сказала:

– Как мне с тобой хорошо. И нам никто не нужен. Ты у меня такая красивая и талантливая! Как бы я хотела быть на тебя похожа.

Валя прижала к себе дочь и тихо сказала:

– Ты гораздо лучше меня!

В дверь позвонили. Это была Лариса. Выглядела она помятой, и от нее несло перегаром. Не проронив ни слова, она прошла в свою комнату и стала собирать вещи. Валя ворвалась к ней.

– Ты где была? Ты что себе позволяешь?

– Где надо, там и была! – буркнула Лариса.

– Куда ты собралась? Шлюха подвальная! Кого я родила?! Иди сейчас же прими ванну! Ты на кого похожа?

– Как на кого? На отца! Забыла?

– Ты еще и дерзишь!

Валяхватила у нее из рук чемодан. Лариса сорвала покрывало с кровати, расстелила его на полу, стала бросать оставшиеся вещи.

– Что ты делаешь, ненормальная? – закричала Валя.

– Узелок собираю. На войну ухожу.

Валя швырнула ей чемодан и вышла из комнаты.

Света на кухне пила чай и делала вид, что ничего не слышит. Валя села рядом и посмотрела на дочь.

Жуя сушку, Света спросила:

– Что там случилось?

– Лариска собирает чемодан.

– А куда она пойдет?

– Пусть идет куда хочет. Мне все равно. Скорее бы папа приехал...

* * *

Лариса хорошо устроилась в общежитии у подруги Лены, приехавшей из Иванова на поиски мужа. Общежитие находилось на улице Шмидта, бывшей улице Военных моряков, на месте разрушенных казарм для флотских экипажей.

Город встретил Лену темной полярной ночью и жутким холодом, пронизывающим до костей. Мужчин действительно было много, но подходящих практически не было: одни пьющие да женатые. Лена поступила в училище парикмахеров, где предоставлялось общежитие. Там они с Ларисой и по-

знакомились. Лариса пришла к ней с чемоданом как раз тогда, когда соседка Лены уехала к родителям в Рязань.

– Живи, – сказала Лена, – сколько хочешь. Зинка на месяц уехала.

– Спасибо, – с благодарностью ответила Лариса и выставила бутылку портвейна на стол. – Давай выпьем!

Лена улыбнулась и достала из шкафчика граненые стаканы.

– Наливай. И чувствуй себя как дома.

Вечером девушки пошли на дискотеку в Дом культуры моряков. Он располагался в самой красивой части города. Величественное здание нежно-голубого цвета было построено в сороковых годах, еще до войны. Деревянные филанчатые двери с историческим рисунком придавали ему вид дворца. Перед ним стояла скульптура белой медведицы. Лариса придумала традицию: чтобы вечер удался, нужно потереть лапу белой медведицы и улыбнуться. «Интересно, сколько ты знаешь тайн», – спрашивала она каждый раз медведицу, заходя в клуб.

В модной короткой юбке и в цветастой кофте Лариса чувствовала себя уверенно на танцах. Лена была одета скромнее, в платье из ивановского трикотажа. Она смотрела на подругу и думала: «Лариса коренная мурманчанка, видно, что из хорошей семьи, красиво двигается, наверняка занималась танцами, и пришла ко мне в общагу. Странно. И чего ей не хватает?»

От размышлений ее отвлек молодой человек невысокого роста, одетый просто и безвкусно, с крупной головой и глазами цвета спелого каштана.

– Петр, – представился он и пригласил Лену на танец.

Она смущенно протянула руку.

– Очень приятно, Лена, – ответила она и пошла с ним в центр зала.

Там Лариса уже всю танцевала со стройным высоким кудрявым брюнетом. Он был хороший танцор, и они прекрасно смотрелись вместе. Держался уверенно и чуть надменно, элегантно поправляя свою прическу. Одет был по последней моде. После танцев Лариса шепнула Лене:

– Ты меня сегодня не жди. Я у Володи останусь.

Лена сильно удивилась. Она схватила Ларису за руку и прошептала:

– Вы же только познакомились!

– Плевать, – сказала Лариса и чмокнула подругу в щеку.

– Ну ты даешь. – Лена то ли восхитилась, то ли осудила подругу. – Смелая ты!

Но не стала анализировать и помахала Ларисе рукой, когда та с видом королевы спустилась по ступенькам Дома культуры под руку с Володей.

Володя был из семьи потомственных моряков, успешно оканчивал высшую мореходку и готовился к первому плаванию на судне «Иван Стрельцов». Ему очень понравилась Лариса. Она была как будто из другого мира: свободная, без всяких ужимок и условностей. Володя разбудил в Ларисе такую страсть, что она вмиг забыла своего гитариста. Он был неистощим, любовные игры настолько нравились Ларисе, что на все его пожелания она всегда отвечала согласием. После бурных ласк, свернувшись калачиком, прижавшись к нему и вдыхая его запах, она быстро засыпала.

Было очевидно, что эти двое нашли друг друга. Все свободное время они проводили на танцах или в постели. Лариса начала потихоньку отогреваться рядом с ним, пока однажды он не сказал ей:

- Ларис, если мы будем так часто ходить на танцы, я не смогу закончить мореходку. Мне нужно учиться. И тебе бы тоже не мешало задуматься о поступлении в техникум. Ты же не можешь всю жизнь стричь головы и танцевать. У человека должны быть цели в жизни, а не одни удовольствия.
- А, значит, у меня целей, по-твоему, нет? Все, что меня интересует, – это постель и танцы, так получается? Ну что же, если тебе не нравится, можешь и не ходить со мной на танцы, и все остальное тоже можешь не делать. Я не настаиваю.

Лариса не стала дожидаться ответа, развернулась и ушла. А Володя не стал догонять.

Вернувшись в общежитие, она застала Лену одну. Та писала письмо матери, в котором подробно рассказывала о Пете. Лариса спросила у Лены:

- А у тебя что-нибудь с Петей было?
- Нет, – ответила она и покраснела.
- А зачем ты тогда про него матери рассказываешь?
- А как же? У меня секретов от мамы нет.

Лариса ухмыльнулась.

- А если переспышь, тоже в письме напишешь или телеграмму дашь?
- Злая ты, Лариса. Я до свадьбы не пересплю!
- Ну ты прям как монашка. Так тоже нельзя. Хочешь старой девой остаться? А вдруг он тебе не понравится?
- Все мне понравится. Я замуж хочу, и чтобы все у меня было по-человечески.
- Сходи ко мне домой, там все по-человечески. Скатерти, фарфор, застолье по праздникам, и при этом все друг друга ненавидят. А с виду

семья – глаз не оторвать. – Лариса закурила. – Папаша в центре города висит на доске почета. Сестра шляется по мужикам, а дома рассказывает, что с репетиторами занимается. Мать с ума сошла с этой уборкой: все драит, успокоиться не может. Зачем тебе семья?

- Ну не у всех же так. Бывают же хорошие семьи.
- Бывают, наверное.

В дверь постучали. На пороге стояла Валя. Безупречно одетая: в белом брючном костюме, с модной сумкой на плече. Лариса потушила сигарету и разогнала дым рукой. Валя, увидев дочь, нахмурилась.

- Ты еще и куришь!
- Лена тактично вышла из комнаты.
- Здравствуйте! Вы проходите, – сказала она. – Мне все равно пора.
- Добрый день, деточка! Спасибо. – И Валя перешагнула порог. – Ну здравствуй, Лариса! Слава богу, я тебя нашла! Скоро папа с моря приходит, а тебя дома нет.

- Кто тебе сказал, где я?
- Сорока на хвосте принесла. Собирайся домой! Еще и курить начала. Куда ты катишься... У тебя же есть дом, что ты по общагам шляешься?

В этот момент Лариса поняла, что у нее больше нет убежища. Где появляется Валя, там появляется зло.

- Иди домой, – сказала она матери. – Я вернусь к приезду отца.
- Хорошо. Он возвращается через неделю. Надеюсь, мне не придется краснеть, когда он тебя увидит, – сказала мать и вышла из комнаты.

Саша вернулся из плавания загорелый и с кучей подарков. Дома накрыли стол, он много рассказывал жене и детям о Перу, об индейцах, показал кожаные мокасины, уточнил, что это ручная работа местных жителей из народа агуаруна. Потом началось вручение подарков. Вале перепала светлая дубленка, сшитая на заказ. Она примерила обновку и тут же поняла, что у Саши была баба с большими сиськами. «Вытачки на пятый размер груди, не меньше», – она ухмыльнулась, сняла подарок и протянула мужу.

- Отдай той, кому ты ее сшил.

Саша принял оскорбленный вид. Он уже выпил к этому времени и слова Вали воспринял довольно спокойно, просто в очередной раз подумал, что у его жены звериная интуиция. Он действительно ходил на рынок в Перу с Зиной, буфетчицей и любовницей его и капитана. Старый мексиканец спросил, для кого Саша шьет дубленку, он ответил, что для жены. И по всей видимости, тот подумал, что его жена Зина. Через неделю он забрал дубленку у старого мастера.

Валя посмотрела на мужа и со слезами на глазах сказала:

– Я не буду ее носить. Здесь выточки на пятый размер груди. Ты хочешь, чтобы, когда я ее надевала, то представляла, как ты со своими буфетчицами развлекаешься?

Саша театрально поднял руки вверх.

– Валя, что ты такое говоришь! Здесь же дети!

– Вот и хорошо. Пусть узнают, какой у них отец!

Саша тяжело вздохнул, подошел к столу, сервированному, как в ресторане, налил себе водки из хрустального графина.

– Знаешь, что, Валя, дети вырастут и разберутся. Давайте сядем за стол. Возьми гитару, Валюш, спой нам. Я так скучал по твоему голосу. Так мечтал вернуться на берег, сесть вот так, в кругу семьи и послушать, как ты поешь!

– Лгун! Врать ты научился так, что хочется тебе верить!

– Валечка, если бы ты знала, как я люблю тебя!

Валя достала гитару из чехла, отодвинула стул и запела.

Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,

Ведь остается на свете любовь.

Кружится, кружится, белый листок,

Кружится в памяти старый вальсок,

Юности нашей, юности нашей вальсок.

Саша ей подпевал. Света ластилась к отцу и тоже подпевала. Лариса молча смотрела на них.

Ночью девочки засыпали под характерные звуки софы и шепот матери: «Саша, тише!»

Ларисе и Свете всегда было неловко в такие моменты, и они старались делать вид, что ничего не слышат.

Утром Саша спросил у Вали, как они жили все это время без него.

– Лариска из дома ушла, по общагам шляется. Учебу в бухгалтерской школе бросила. Парикмахером устроилась. Ну и пьет, и курит. Вся в тебя.

Саша заходил по комнате.

– А ты куда смотрела?

– А что я? Что я могу поделывать? Я ничего не могу поделывать с тех пор, как ты залез на меня. А потом ты в море, а я с детьми остаюсь. Жизни у меня нет. Я света белого не вижу с этой Лариской.

Саша отвернулся от жены, помолчал, а потом проговорил, будто гвозди в стену забивая:

– Не любишь ты ее. И меня не любишь. Никак не могу понять, что я тебе такого сделал, что ты вечно всем недовольна. Валя, ты же жизни не знаешь. У тебя все есть. Я стараюсь изо всех сил, чтобы

ты не знала никаких лишений. А ты, как прорва, сколько тебе ни дай, все мало. Тебе вечно все не так. На Лариске срываешься! – Саша заходил по комнате. – Ты оглянись, посмотри, как ты живешь! Ты думаешь, у всех так?

– А что ты меня своими деньгами постоянно попрекаешь! Я живу как в плену! Ты думаешь, я мечтала всю жизнь так жить? Да ты хоть знаешь, как мне виделась моя жизнь? Я хотела закончить музыкальное училище, потом поступить в консерваторию. Жизнь свою музыке посвятить, а не тебе и детям! Что мне твои подачки?

– Я-то тут при чем? В Мурманске есть музыкальное училище, ты спокойно могла бы продолжить обучение, если бы захотела...

Валя швырнула на стол газеты, которые аккуратно стопкой складывала на столе по датам.

– Ты при чем? Кто мне говорил, что все музыкантши – женщины легкого поведения?

Саша развел руками.

– Валя, ну когда это было? Ты могла бы сказать мне о своем желании. Я бы тебе пианино купил!

– Ах, какие мы щедрые! С чего бы это? Баба в Перу ошастливила? Пианино он бы мне купил – надеюсь, с клавишами из слоновой кости? Экономить бы не стали? – Валя сбросила стопку газет на пол. – Сделал мне большого ребенка, а потом про пианино заговорил!

– Да почему же большого?

– Ну не большого, а распушенного, такого же, как и ты... Еще и деньгами смеешь меня попрекать...

– Кстати, чеки я в бар положил.

– Молодец! – сказала Валя и вышла из комнаты.

На следующий день Саша предложил Ларисе прогуляться.

– Не хочу я никуда идти. Со Светочкой своей гуляйте, а меня в покое оставьте.

– Хорошо, гулять мы не пойдем. Сядь, мне нужно с тобой поговорить серьезно.

– Ну, начинается. Меня уже поздно воспитывать.

– Лара, ты понимаешь, что ты делаешь?

– Я все понимаю!

– Видимо, нет. Ты можешь своим поведением нам навредить. Ты что, хочешь по рукам пойти, чтобы каждый мог сказать, что дочь старшего механика Макарина шлюха? Ты почему учебу бросила, почему решила стать обслуживающим персоналом?

– Это моя жизнь! Че хочу, то и делаю, понятно?

Саша смачно вплепил ей пощечину.

– Дрянь...

– Еще раз дотронешься до меня, я в море буфетчицей устроюсь. Понял? И тогда стану самой

прославленной шлюхой Мурманского порта! У вас там нет доски почета для них?

Все это она уже говорила на ходу, натягивая куртку. Потом хлопнула дверью.

В общежитии вахтерша протянула ей ключ.

– А Ленки нет, она на три дня в Североморск уехала. Ей подружка пропуск выписала.

– Спасибо, тетя Мань, – сказала Лариса и взяла ключ. Вечером к ней постучал Петя.

– Ленки нет, – сказала она ему и хотела закрыть дверь.

– Жаль. А я не знал. – Петя улыбнулся и показал Ларисе бутылку шампанского.

– Хотел отметить сдачу зачета. Впустишь?

– Да заходи, мне-то что.

Петя зашел в комнату, поставил бутылку на стол.

– Лар, выпей со мной. Такой зачет был сложный!

– Давай!

– А надолго Ленка уехала?

– На три дня вроде. Скучаешь?

– А то. Хотя в последнюю неделю не до скуки было. У нас профессор такой требовательный. Не спишешь, все учить пришлось! Но, к счастью, я все сдал!

– Молодец. – Она подняла бокал. – За тебя, Петя! Будешь настоящим моряком! Откуда ты к нам приехал?

– С Брянска! Вернее, с Брянской области.

– У нас говорят «из», но это неважно!

– Да я все время путаю. У нас в деревне знаешь как разговаривают?

– Не знаю, Петя! Ни разу не была. Я вообще не знаю, что такое деревня!

– Эх, многое ты потеряла! Речка, рыбалка, сеновал, молоко парное по утрам!

– Какая гадость! А зачем ты в Мурманск подался, водоем местный не устраивал?

– Я хотел из дома сбежать. У меня отец очень строгий. Однажды убил собаку на моих глазах и сказал, что если учиться не буду, то со мной то же самое сделает. Я сколько с ним жил, столько и мечтал подалее уехать.

– Помогло?

– Еще бы! Больше всего боюсь вернуться назад.

– А почему они у тебя такие добрые?

– Они дети репрессированных, оба в детском доме выросли. Может, поэтому, я не знаю.

– Я тебя понимаю, мои не репрессированные, но сбежать от них тоже хочется. Вот у Ленки и ошибаюсь. Давай лучше еще выпьем.

Когда они допили шампанское, Лариса посмотрела на прическу Пети и спросила:

– А что тебя Ленка не подстрижет? Прическа – как будто ты из деревни только вчера приехал. Давай-ка тебя в порядок приведем. Жених ты или нет?

– Ну какой я жених, – засмутился Петя, снимая рубашку.

Лариса достала ножницы и приподняла ему волосы.

– Какие у тебя приятные руки, – сказал Петя и поцеловал их.

Утром они проснулись в одной постели.

– Прости, – прошептал он, вытягивая руку из-под головы Ларисы.

– Да уж, нелепо получилось. Но ты не расстраивайся.

– Лариса, если ты забеременеешь, я женюсь...

– Да ты герой, Петя! Беги в свою мореходку, а то опоздаешь. И пожалуйста, можешь как-нибудь выйти из общежития, чтобы тебя вахтерша не заметила... Перед Ленкой неудобно будет...

– Не переживай! Я из окна туалета спрыгну.

– Ты аккуратней! Не сломай себе ничего!

Петя поцеловал Ларису и, убедившись, что никого нет, прошмыгнул в туалет.

Когда вернулась Лена, Лариса не знала, как рассказать ей о произошедшем. Та приехала с горящими глазами: обняла подругу и затараторила.

– Представляешь, я, кажется, влюбилась. Он штурман. Подводник. Красивый, как античный бог! Такой обходительный, ласковый. Я даже не знала, что такие мужчины есть!

– Поздравляю. Но ведь подводники на год в плавание уходят! – сказала Лариса. – Хотя это неважно: главное, ты счастлива! Тут кое-что произошло, даже не знаю, как сказать. В принципе, это не имеет уже, наверное, никакого значения...

– Это ты про Петьку? Мне вахтерша сказала, что он приходил, когда меня не было, обратно не выходил...

– Значит, ты все знаешь? – Лариса опустила глаза.

– Не знаю, но догадываюсь. Не обижай его, он хороший. Наивный просто.

– Все равно прости меня, не знаю, как так получилось...

* * *

Лариса действительно забеременела. Она хотела сделать аборт и уже записалась в женскую консультацию. Но накануне ей приснился сон – маленькая девочка тянула к ней руки и шептала «Мама, оставь меня». «Меня в этой жизни, – раз-

мышляла Лариса, – все равно никто не любит. И вряд ли уже полюбит. А так хоть ребенок будет: ну и плевать, что не от Володьки. Будет только моим. Я буду его любить, воспитывать и не буду поднимать на него руку. И он никогда меня не оставит». Утром она никуда не пошла. Лариса решила все рассказать Пете.

Они встретились в центре города в кафе «Юность». Кафе располагалось напротив доски почета, где висела фотография ее отца. Лариса заказала себе мороженое. Напротив сидел напряженный Петя.

– Я беременна, – спокойно сказала Лариса, помещивая в креманке растаявшее мороженое.

Петя замер.

– Я так и знал... Что теперь делать?

– Жениться. А что еще делать... Я не пойду на аборт.

– Мне же еще учиться полгода...

– Ну и учись. Не переживай, мы поженимся, я рожу ребенка, и разведемся. Иначе меня родители с говном съедят. Ты же знаешь, кто у меня отец...

– Знаю. Нам его в пример в мореходке постоянно ставят. Я не знаю, что делать... Ты мне определенно нравишься и...

– Так, Петя, без всяких «и». Давай договоримся сразу: я тебя не люблю и вряд ли когда-нибудь полюблю. Ты не в моем вкусе. Но аборт я делать не хочу.

– Что я должен сделать? Я даже не знаю, что говорить в таких случаях, наверное, радуются... ребенок все-таки будет. Наш...

– Петя, Петя, давай без этой лирики.

– Лариса. Я так не могу! Я тебе сказал, если вляпаться – женюсь. Я тебе дал слово, и я его сдержу, но и тебе тогда придется стать моей настоящей женой.

– Ох, и зачем ты тогда приперся в общагу?..

– А я знал, что Ленки не будет. Ты мне понравилась с первой встречи на танцах. Ты такая яркая, свободная. Мне даже не приходило в голову, что мы сразу переспим...

Лариса поморщилась.

– Не вспоминай. Давай лучше подумаем, что нам делать.

– Заявление подавать, что еще делать. Все, что можно было, мы уже сделали...

Лариса сказала матери и отцу, что встретила человека и собирается за него выйти замуж. Саша тяжело вздохнул, когда увидел жениха. Казалось, одна Валя была довольна. Теперь уж она точно будет свободна от непокорной дочери.

Свадьбу сыграли через месяц. Петя был счастлив: его тесть видный в городе человек, и теперь

загранкомандировки ему обеспечены. И жена ему очень нравилась. Он до конца не верил своему счастью. Он, простой деревенский парень, стал зятем самого Макарина.

Валя и Света в нарядах из «Альбатроса» своим видом покорили гостей. Валя сделала себе новую прическу, надела шпильки и обтягивающее платье. Родители Пети чувствовали себя неловко. «Не по себе Петька сук срубил, – размышлял его отец. – Ну и бабу он себе нашел. Та еще вертихвостка. Точно по залету женятся. Ох, дурак, что он с ней делать-то будет. Мать ее на шлюху похожа. И эта такая же будет». «Хорошо хоть, богатые, может, и этого дурака выгодно пристроят», – думала мать Пети и поднимала бокал за здоровье молодых.

В курилке Катя спросила Ларису, зачем она выходит замуж за такую деревенщину. Лариса ответила, что по залету, и добавила, что аборт сделать ей не хватило мужества.

– Я рожу и сразу с ним разведусь. Скоро он в море уходит. Папаня его на хорошее судно пристроил. – Но тебе-то от этого легче не станет. Зачем он тебе нужен? Ты могла бы сама ребенка воспитать.

– Иди скажи это моему отцу.

Катя обняла подругу.

– Я уверена, что все у тебя еще будет хорошо.

– Надеюсь.

После свадьбы молодые отправились на Брянщину. У родителей Пети было большое хозяйство – свиньи, куры, индюки, цыплята. Свекровь каждое утро без стука входила в комнату молодых и громко командовала, уперев руки в бока.

– Вставайте! Вы что, сюда отдыхать приехали? Свиней надо кормить! Ты зачем женился, лоботряс? Она делать ничего не умеет и не хочет!

– Мам, мы встаем, выйди. Дай одеться!

– Что это ты мать из своей же комнаты гонишь? Что я там не видела? У Лариски твоей кожа да кости.

Лариса молча отворачивалась от свекрови и накрывала голову одеялом. Петя вскакивал и, натягивая на ходу брюки, корил молодую жену.

– Ну че ты, правда, разлеглась. Вставай уже. Здесь принято работать.

Лариса вяло огрызалась.

– Может, ты забыл, что я беременна? По твоей милости, между прочим.

– Слушай, хватит мне об этом напоминать. Вдвоем виноваты.

– Если бы ты не приперся в тот день, сейчас бы не надо было никаких свиней кормить. Я вообще первый раз в таких условиях живу.

- Лариса, я не скрывал от тебя, что я из деревни. Ты все знала! И ты мне предложила пожениться, ты же аборт не хотела делать.
- Да ничего я не знала! Я и представить не могла, что испорчу так себе жизнь...
- Не волнуйся, через две недели мы вернемся в Мурманск. Я родителей год не видел!
- Ну так иди к ним! Я-то здесь при чем? И передай своей матери: еще раз она зайдет сюда без стука, соберу вещи и уеду, а ты оставайся, свиной корми.

Через две недели Лариса и Петя улетели в Мурманск. Ларисе пришлось уйти из парикмахерской. Саша не мог допустить, чтобы дочь там работала при его видном положении. Он начал щедро помогать деньгами и даже тайком от Вали приносил ей чеки. Молодым сняли квартиру в центре города. Лариса на время успокоилась, старалась привыкнуть к мужу, но он все равно ее раздражал. Она ждала одного: когда он уйдет в рейс.

Однажды, возвращаясь от Кати, она столкнулась на остановке с Володей. Он, как всегда, выглядел безупречно. У нее уже выпирал живот. Он увидел Ларису и замер.

- Поздравляю, – сказал он. – Я слышал, ты замуж за Петра вышла.
- Да, – с вызовом ответила Лариса.
- Ну что же ты наделала. Зачем? Я же просил тебя дать мне время, мне нужно было доучиться.
- Доучился? – спросила Лариса. – Молодец, учись дальше.

Она хотела пройти мимо него, но он схватил ее за запястье:

- Лариса... Я же любил тебя. И до сих...
- Лариса вырвала руку и сказала:
- А если любил, то не бросил бы. Ты даже не пытался меня найти!
- Я звонил, но твоя мать сказала, что ты у мужчины живешь какого-то...
- А ты поверил. Молодец!

Лариса вошла в подошедший троллейбус, стараясь не смотреть на Володю. У нее тряслись руки. Она с отчаянием поняла, что до сих пор любит его.

Чтобы унять волнение, Лариса решила зайти в «Альбатрос». На входе она показала удостоверение, которое дал отец, и прошла в мужской отдел: целый мир для красивых, элегантных мужчин. Лариса перебирала фирменные костюмы, кардиганы из кашемира и льняные рубашки, пытаясь представить в них Петю. Но что бы она ни держала в руках, все ей казалось неподходящим для ее мужа – деревенского коренастого парня среднего роста. «Ему

идут только роба и фуфайка. Как можно было такого родить, ему даже за чеки ничего выбрать нельзя», – сокрушалась Лариса.

Тут она увидела красивый желтый джемпер и синие брюки. «Это, наверное, ему подойдет», – решила она и пошла в кассу.

Глядя на детские фотографии мужа, Лариса думала: как этот несимпатичный мальчик в коротких штанах и стоптанных ботинках мог стать ее мужем? Ей вообще все это казалось сном. Какой-то муж, ребенок в ее животе, деревенские родственники, куры, свиньи. Это не может быть правдой. Ей совершенно не нравился ее муж. Но иногда ей казалось, что если его красиво нарядить, подстричь и не погружаться в его небогатый внутренний мир, возможно, он и сойдет для семейной жизни. Лариса модно его стригла, следила за его речью, в гостях советовала ему больше молчать. Мать в гости приходила редко.

После отъезда Ларисы в съемную квартиру Валя переклеила обои в их со Светой комнате и выкинула ее кровать. Светочке был куплен удобный гобеленовый диван. Саша снова уходил в море и не мог скрыть свою радость. Валя радовалась вместе с ним. Теперь у нее будет такая жизнь, о которой она мечтала. Она останется одна в своей уютной квартире с любимой дочерью и с деньгами мужа. Можно наконец-то вздохнуть и начать жить спокойно.

Саша сдержал слово и устроил Петю на хорошее судно. Петр должен был успеть вернуться в Мурманск к родам жены.

Саша прекрасно понимал, что Лариса не любит Петра, он подсознательно испытывал чувство вины за то, что все у нее так несладко сложилось. Он гнал мысль, что всю жизнь позволял жене издеваться над дочерью, хотя, конечно, у той характер был непростой, слишком независимый. Казачья кровь в ней чувствовалась сильно.

А Валя и Света были одного поля ягоды. Две приспособленки, любящие деньги и самих себя. Если бы он не был членом партии, давно бы развелся, все ей оставив, и больше не вспоминал. Но этого он позволить себе не мог. Единственной отрадой были море и Южная Америка. Суда, которые он ремонтировал, стояли в порту города Лимы. Там все было по-другому, была постоянная женщина, ласковая и нетребовательная. Но об этом никому нельзя было рассказывать. Его устраивала эта двойная жизнь.

Петю он пристроил к своему другу-капитану по имени Василий Семенович и попросил научить парня жизни. Тот пообещал сделать все от него зависящее. Он-то и преподал Пете первые уроки на-

стоящего моряка. Замполит, призванный служить оплотом нравственного и политического воспитания молодежи, был другом Василия Семеновича. Так у Пети появилось сразу два наставника.

Замполит Юрий Михайлович обладал магической способностью очаровывать женщин. Он был тактичен и внимателен ко всем особам женского пола, каждая рядом с ним была уверена, что только она ему нравится и только к ней он испытывает сильные чувства. Для него это была игра, которая со временем превратилась в образ жизни. На любовном фронте Юрий Михайлович не знал поражений. Даже Валя, увидев его однажды, когда он принес посылку от Саши, сразу предложила ему выпить чаю. Дети были в лагере. Юрий Михайлович посмотрел на Валю своим отработанным взглядом и снял ботинки. Слово за слово, и замполит с женой старшего механика неожиданно для себя стали любовниками. На прощание Валя сказала ему:

– Ты заходи, не забывай!

Юрий Михайлович поцеловал руку Вале.

– Как я могу забыть, что испытал впервые...

Он хотел продолжить, но Валя закрыла ему рот рукой.

– Не надо, Юра, у меня такой же муж. Не зря вы дружите. Только любовник ты получше. Тот пообтрепался уже. Нет того запала.

Юрий Михайлович еще несколько раз навещал Валю, пока дети и Саша были в отъезде, а потом встречи прекратились так же внезапно, как и начались.

На общие застолья Юрий Михайлович приходил с женой, и Валя с ней мило болтала о детях и о трудной судьбе жены моряка. Саша однажды увидел, как за общим столом Юрий Михайлович положил ладонь на колено Вали, но ничего не сказал. А вечером спросил у жены:

– У тебя что-то с Юркой было?

– С чего ты взял? – спокойно спросила Валя.

– Я видел, как он твои колени трогал.

– Все твои друзья трогают мои колени, странно, что ты раньше этого не замечал.

– Валя, что такое говоришь?

– А что ты такое спрашиваешь? – парировала Валя, и на этом разговор закончился.

* * *

В первом рейсе Петр проявил себя как человек, который не боится работы. Он все время проводил в машинном отделении, набираясь опыта от других механиков. Старший капитанский состав был им доволен.

Петр узнал о заграниче очень многое. Больше всего его, конечно, поразил стрип-клуб, куда двое старших товарищей привели его на стриптиз. Красивая высокая негритянка с ровными зубами и короткой стрижкой посмотрела на обалдевшего Петра, обворожительно улыбнулась, взяла его за руку и скрылась с ним в одной из комнат. Капитан и замполит улыбнулись.

* * *

Петя успел вернуться домой как раз к родам жены. Лариса родила легко, без осложнений. Дочку назвала Женей. Петя был не против. Он привез много подарков Ларисе и ребенку.

Отцом он оказался хорошим. По ночам вставал к дочери, носил ее на руках, пока она не засыпала, поил укропной водой. «Я бы без него сошла с ума, – думала Лариса. – Все-таки с ним спокойно и можно поспать». Она проваливалась в сон при первой же возможности. Петр научился менять подгузники и кормить дочь сцеженным молоком. И все-таки он не подходил Ларисе. Наверняка какая-нибудь другая женщина оценила бы его по достоинству, но только не она. И еще ей не нравилось, как пахнет муж. Она давно решила, что спать они будут в разных кроватях. Муж спал с открытым ртом и храпел. Если он все-таки засыпал в ее кровати, она толкала его локтем и говорила коротко: «Не храпи». Петя извинялся, закрывал рот и переворачивался на другой бок. Ларисе казалось, что огромная плита накрывает ее полностью, и у нее нет сил пошевелиться.

Через два месяца устроили смотрины. Валя позвала гостей, те пришли с подарками. Саша привез из Америки коляску. Он обнял зятя и сказал, что уверен, что из Петра получится хороший муж и отец. Валя уже выпила и заметила, не стесняясь гостей:

– Главное, чтобы таким хорошим, как ты, не был...

– Да, я согласен, Валечка, детей я проплавал! Но, надеюсь, что Петр не так часто будет ходить в море, как я!

– Да ты бы там и жил, была б твоя воля!

Подруга Вали Юля попросила Сашу прочесть стихи. Саша встал, налил водку в стопку и начал декламировать. Гости притихли.

*Меня спрашивают зачастую,
Почему столько грусти в глазах?
Что ж, послушайте быть простую
И поймите, что не досказал.*

*Это было в далекой юности.
Беззаботно я жил, как и все.
Но однажды в осенней туманности
Моя юность ушла насовсем.*

*Оболагли меня жестоко,
Прямо с парты под взгляды друзей
Провели мимо школьных окон,
И посажен я был в КПЗ.*

*Унеслись сразу в прошлые годы
Все ребячество, баловство,
Покатились по небу звезды,
Закачались деревья с листвой...*

*Ты сильна, моя честная Родина,
Тем, что, пусть убегают года,
Что, казалось, забыто, пройдено,
Правда восторжествует всегда!*

*Клеветник был наказан по строгости.
А меня подбодрили: «Крепись!»
Я прошел эту школу суровости,
Я узнал, что такое жизнь.*

*И когда под дымок папиросный
Говорят про родительский дом,
Почему-то становится грустно,
Даже пасмурно как-то кругом.*

*Вспоминаю некрытые сени я,
Резкий ветер дождливого дня.
Вот поэтому грусть осенняя
Улеглась на глазах у меня.*

Петя с интересом посмотрел на свекра. Кто-то из гостей захолопал. Юля, раз в десятый слышавшая это стихотворение, сделала вид, что слышит его впервые. Она встала и произнесла тост.

- Я хочу выпить за правду. Надо быть очень смелым человеком, чтобы не бояться рассказывать о себе не очень симпатичные вещи. Ты такой талантливый, Саша! И ты, Валя, тоже! У вас такая прекрасная семья. А теперь еще и внучка появилась. Будет теперь тебе, Саша, кому стихи свои читать! Юля подняла бокал.
- За поэзию и за вас! За вашу семью и маленькую Женю!

Когда гости разошлись, Валя на кухне мыла посуду. Саша пил коньяк и с нежностью смотрел на жену. Он позвонил ей, притянул к себе и посадил на колени.

- Родная моя, – сказал он, – как я скучал! Я каждый день думал о тебе! Вспоминал, как мы с тобой в первый раз оказались вдвоем. Помнишь? Я нес на тебя руках два километра.
- Самое большее – триста метров, – заметила Валя и улыбнулась.
- Ночь была черничного цвета, и трава была мокрой...
- А ты был очень настойчивым.
- Но ты не поддавалась, а твои губы до сих пор пахнут парным молоком... – Саша крепко поцеловал ее.

* * *

Валентина решила устроиться на работу в архивный отдел порта. Саша не стал перечить, он позвонил своему другу, и ее взяли на должность архивариуса.

Для Вали работа была праздником. Она наряжалась каждое утро как на подиум. Ей нравилось идти по улице и замечать на себе заинтересованные взгляды мужчин. «А я еще ничего», – думала Валя и улыбалась самой себе. На работе она тоже пребывала в хорошем настроении. Ее природная аккуратность пригодилась в архивном деле. На людях она вела себя безупречно: ангел, да и только. Одна Лариса знала, что кроется за ее любезностью и вечной улыбкой.

Если бы кто-нибудь спросил Валентину, за что она так не любит свою дочь, она, наверное, сразу бы и не ответила. Ведь все у нее, казалось, было нормально. Она жила в хорошем городе, ее окружали прекрасные люди, ей был послан муж, который много зарабатывает.

Но она помнила другую жизнь и скучала по ней. Там, где она была девчонкой, где у нее было много сестер и мама рядом. Ей нравилась ее жизнь... пока она не встретила Сашу.

Детство и юность Вали прошли в Казахстане, в Алма-Ате. Она очень любила музыку. У нее рано обнаружили абсолютный слух, и она обожала аккордеон, потому что на нем любил играть отец. Валя отчетливо помнила, как ее папа, устроившись на табуретке, брал в руки инструмент и, забыв обо всем, играл дорогие ему мелодии. Аккордеон был трофейный: отец привез его после войны из Германии. Об истории инструмента он умалчивал.

Отец умер внезапно, когда ему было 50 лет. Он возвращался с рыбалки, выпил и уснул в снегу. Мать продала аккордеон, чтобы было на что похоронить отца. Валя все это плохо помнила, в памяти только и остались протяжные стоны плакальщиц.

Когда Вале исполнилось семнадцать, она поступила в музыкальное училище и продолжала заниматься легкой атлетикой. Ноги у нее были сильные и красивые. Выступала Валя не только за честь города, но и за честь области, что было очень почетно.

Летом после очередных соревнований ее наградили кубком и денежной премией. В училище начались каникулы.

Ее сестра Зоя к этому времени превратилась в красивую девушку с большой грудью и узкой талией. Она все время пила касторку, чтобы талию можно было обхватить руками. Зоя знала толк не только в народных средствах для похудения, но и в мужчинах. Она и предупредила Валу, что если на танцах подойдет к ней красивый парень в «бабочке», с ним нужно быть осторожной, он уже «многих девок испортил».

Красивый парень в «бабочке» по имени Саша сразу подошел к Вале. Она не смогла отвести от него взгляд. «Все зависит от женщины», – подумала она и пошла с ним танцевать. А через две недели она отдалась ему на скрипучей кровати в маленькой комнатке, закрытой на ржавый крючок.

Саша был моряком, он надолго уходил в море и мечтал быть у Вали первым и единственным. Так, по крайней мере, он ей объяснил. Через месяц она узнала, что ждет ребенка. Сначала она хотела сделать аборт, но сталинский указ запрещал аборты. Потом решила броситься с моста, но передумала. В итоге, набравшись смелости, рассказала все своей маме.

Та пошла к матери Саши и потребовала, чтобы ее сын женился на Вале, если не хочет испортить себе жизнь.

Саша приехал на три дня, чтобы расписаться с беременной невестой и снова уйти в море. Валя, нарыдавшись от счастья и от горя, что придется расстаться с родными людьми, купила билет в Мурманск.

Город ей сразу не понравился. Она, конечно, знала про полярную ночь, но не могла себе представить, что солнце может не появляться на горизонте в течение многих и многих дней.

Саша писал редко. В первом письме попросил больше не увлекаться музыкой, потому что считал, что все музыкантши – это женщины недостойного поведения. Деньги на жизнь ей выдавал его старший брат, с женой которого, Ольгой, Валя сблизилась. Оля работала снабженцем в порту. Это была женщина непримечательной внешности, в отличие от ее мужа, Эдуарда, обладающего харизмой. Бесконечными вечерами, которые начинались в два часа дня,

Валя проводила время у Оли, так как больше никого не знала в городе. Ее мучил токсикоз от запаха рыбы, которую очень любил Эдуард. Оля сочувствовала Вале, но сделать ничего не могла, – вся квартира давно пропахла рыбой. Когда Олю охватывала меланхолия – а это было ее обычное состояние, – она делилась с Валей: Саша и Эдуард совсем не те мужчины, за которых нужно выходить замуж. Валя толком и не знала, за кого она вышла и от кого ждет ребенка. Но рассказы Ольги ее пугали. Свои истории про братьев Оля обычно заканчивала одной фразой: «Понимаешь, – говорила она, – они приспособленцы. Вот Эдуард на мне женился, потому что пожрать вкусно любит, а твой на тебе, потому что ты залетела. Ох, чувствую, наплачешься ты от него». Валя уходила от нее всегда в подавленном настроении. На улице был холод, колючий ветер иголками бил в лицо, она шла по незнакомому городу и часто плакала. Рекламные вывески рыбной продукции в магазинах напоминали о токсикозе, и ей казалось, что ее молодая жизнь растворяется в этой бесконечной полярной ночи.

Весной она родила дочь. Рожала трудно, схватки длились три дня. Валя прощалась с жизнью, желая поскорее покончить с ней, а заодно и с этим ребенком, который приносит столько мук и страданий. Она представляла, как бы жила, если бы не этот ребенок. Она бы училась на четвертом курсе, выступала бы на сцене в красивом летящем платье с цветами. А вместо этого корчится от боли в чужом городе и рождает от человека, в которого она даже влюбиться не успела, а уже стала его женой...

Через несколько лет Саша стал известным человеком в Мурманске.

– Валя, – говорил ей муж, – я занимаю высокое положение, и мне обязательно захотят навредить. На работе я безупречен, поэтому бить будут через семью, через тыл. Ты должна быть очень внимательна. Если тебе позвонят и скажут, что меня видели с женщиной в ресторане или еще где-нибудь, не верь! Но знай: звонят враги. Сразу с ними распрощайся. Семья, Валя, – это святое! – подытоживал Саша.

Через полгода у Вали не осталось ни одной подруги.

Потом появились Юля и Геля, они были женами Сашиних друзей. Женщины быстро сблизились и уже не расставались, прекрасно все понимая про своих избранников. Пьющий и гулящий муж – та еще награда. Но их заработки примиряли этих женщин с пороками мужей. И незаметно их жизнь становилась

пустой и неинтересной. Развлекали себя женщины иногда короткими романами.

Лариса видела все это с детства, и ей было омерзительно. Так, однажды придя домой из школы, она увидела, как мать целуется с замполитом – другом отца. Лариса опешила, наблюдая эту картину. Валя была в своей любимой красной кофте. Из юбки выбилась рубашка, волосы были растрепаны. Одной рукой замполит прижимал к себе Валю, держа ее за спину, другой наглаживал туго натянутую юбку в области лобка, словно полировал зеркало. Лариса негромко кашлянула. Валя оторвалась от замполита и проговорила как ни в чем не бывало:

– Ларочка, вынеси мусор!

Лариса схватила ведро с мусором и выбежала из квартиры. Она вернулась не сразу, дав себе отдышаться. Замполита не было, рубашка была аккуратно заправлена, Валя подкрашивала губы. Ларисе было стыдно смотреть матери в глаза. Валя же делала вид, что ничего не произошло. Когда она попыталась спросить у матери, что все это значит, Валя, не моргнув глазом, ответила:

– Тебе показалось. Ты видишь все в дурном свете. Помой лучше посуду, и обратную сторону тарелок лучше мой, – и вышла из кухни.

* * *

Женьке исполнился год, когда Петя снова ушел в море на полгода. Лариса осталась одна с ребенком. Она договорилась с соседкой, женщиной на пенсии, что та будет присматривать за Женей, когда Лариса будет уходить на работу. Она планировала устроиться в порт в архивный отдел, где работала Валя.

Однажды Лариса встретила в магазине Володю. Он стоял в очереди в кассу с красивой девушкой. Девушка смотрела на него влюбленными глазами, то и дело касаясь его рукой. Лариса с интересом наблюдала за ними. Девушка была высокой, стройной, с длинными пшеничными волосами и кукольным лицом. Увидев Ларису, Володя не растерялся.

– Привет, – сказал Володя и, кинув взгляд на спутницу, представил ее. – Это Маша.

– Привет, – сказала Лариса, – очень приятно познакомиться.

– Как у тебя дела?

– Отлично. – Лариса насмешливо посмотрела на него.

– А вы давно знакомы? – Маша исподволь изучала Ларису.

– Давно, года два, – ответил Володя.

В этот момент подошла очередь в кассу, Володя заплатил за шампанское и две пачки сигарет.

– Что отмечаете? Не окончание учебы? – спросила Лариса Машу.

– Нет, – засмеялась Маша, – мы идем к моей подруге на день рождения.

– Это прекрасно! – сказала Лариса и встретила глазами с Володей.

И в этот момент она вдруг поняла, что скучает по тому времени, когда можно было бегать на танцы и на дни рождения. Ей нравилась свободная жизнь – но Женьку она все равно бы ни на что не променяла.

– Пока, – Маша протянула руку Ларисе, – приятно было познакомиться.

– Пока, – вяло промямила Лариса.

– Завтра в семь возле ДК, – шепнул Володя на ухо Ларисе, пока Маша укладывала шампанское в сумку, и громко сказал: – Пока! Рад был повидаваться!

Лариса уже давно не собиралась на свидания с таким волнением. В голове крутились вопросы: зачем она туда идет, чем все это закончится, она же замужем и у нее ребенок. Женя, сидя в подушках, следила за матерью. Бегая по комнате в капроновых колготках, Лариса подошла к дочке и взяла ее на руки.

– Мама скоро придет. Я оставляю тебя с бабушкой Надей, вы погуляете, она расскажет тебе сказку, и мама вернется. Мама только на свидание со своей первой любовью сходит и сразу к тебе. Мама так устала жить без любви, моя звездочка. Женька слушала мать и как будто все понимала.

Лариса очень волновалась, подходя к Дому культуры. Володя ждал ее с тремя гвоздиками. Она подумала, что в других городах с гвоздиками только на кладбище приходят, они хорошо оттеняют траурную одежду, но в Мурманске совсем другая история. Здесь нет цветов, кроме гвоздик, особенно зимой.

Лариса выдохнула и подошла к Володе. Она ругала себя: «Ну на хрена? Ничего из этого хорошего не получится». Володя протянул ей цветы и поцеловал в щеку.

– Привет! Рад, что ты пришла! Я заказал столик в ресторане.

– Привет! Сама не знаю, зачем я это сделала.

– Да ладно, мы же друзья. Пойдем.

Он взял Ларису за руку, и она поняла, что никакие они не друзья. Она уже забыла, как можно испытывать трепет, когда тебя берет за руку любимый мужчина. И конечно же, она помнила бурные ночи с ним.

Сейчас она шла с Володей по городу и ловила себя на мысли, что ей нравится этот город, нравят-

ся полярные и белые ночи, сталинские пятиэтажки в центре, тополя, разросшиеся вдоль улиц. Ей вообще все нравилось, если рядом был Володя. «Почему человек сам отравляет себе жизнь, сам себе создает невыносимые условия?» – мелькнуло в голове, когда они переходили дорогу в неположенном месте. Резко затормозила машина, и водитель, выругавшись в открытое окно, ударил по газам. «С ним я готова умереть прямо сейчас», – подумала Лариса и еще крепче сжала руку Володи.

– Испугалась? Не бойся, я же рядом.

– Угу, – хмыкнула Лариса.

Они зашли в ресторан, где Володя заранее заказал столик. Он ловко сунул красномордому швейцару десятку, и они прошли в зал. Лариса пила шампанское, и ей казалось, что все это происходит не с ней. Она так устала от безрадостной жизни, что решила: будь что будет. Через час она позвонила маме и попросила ее посидеть с Женькой, наврав, что уехала к подруге в Североморск и не может вернуться, так как последний автобус уже ушел. Валя по голосу поняла, что дочь нетрезва.

– Ты что, бросила ребенка и пошла шляться?

Ларисе даже не хотелось оправдываться.

– Я ее с соседкой оставила. Мам, я тебя не так часто прошу побыть с Женей. Но сегодня у меня форс-мажор, пожалуйста, останься с ребенком. Или возьми ее к себе.

– Знаю, какой у тебя форс-мажор, такой же, как и у твоего отца. Зачем ты замуж выходила и дитя рожала? Чтобы по кабакам шляться?! Ты думаешь, я дура, музыку не слышу? Я эти шумы с самой молодости узнаю. Отец твой всю жизнь звонил из кабаков и говорил, что на совещании.

– Мама, просто ответь, выручишь ты меня или нет? Валя тяжело вздохнула.

– Хорошо. Твое счастье, что отец в море. Потом поговорим.

– Спасибо, – сказала Лариса и повесила трубку. Она знала, что мать, конечно, ее выручит, – уж что-то, а ребенка ей можно доверить безоговорочно.

Она появилась у Вали только через три дня. Лариса предусмотрительно не стала отпускать такси. Позвонила в дверь, нервно перебирая пальцами в кармане пальто. Женя, увидев мать, заплакала. Валя молча смотрела, как Лариса тянется к ребенку.

– Ты для начала руки помой, чтобы дитя брать!

– Мам, я тебе потом все объясню. Не могу сейчас, меня такси ждет. Спасибо тебе большое, что выручила!

– Отпусти машину, нам надо поговорить. Все, что происходит, никуда не годится!

– Нет, – сказала Лариса и начала одевать Женьку.

Уже дома, уложив ребенка спать, Лариса перебирала в памяти эти счастливые три дня, которые мгновенно пролетели. После ресторана они поехали к Володе домой. Он жил один: родители уехали на дачу. Переступив порог, они бросились друг к другу.

– Какая же ты ненасытная, – удовлетворенно проговорил Володя.

– Раньше тебе нравилось, – отдышавшись, ответила Лариса.

– Да мне и сейчас все нравится. – Володя прижал ее к себе.

Роман с Володей вспыхнул с новой силой. Им было очень хорошо вдвоем.

– Я люблю тебя, – говорил Володя, когда они с Ларисой гуляли по улицам, – я не могу тебя обидеть: это то же самое, что себе больно сделать.

– То есть себя ты любишь больше, чем меня?

– Ты не поняла, я тебя люблю так же сильно, как себя. – Он обнял Ларису и поцеловал ее в голову. – Нам нельзя расставаться ни в коем случае. Достаточно было уже одного раза.

– И что ты предлагаешь?

– Я не знаю. Тебе, наверное, нужно уйти от Петра...

– А тебе от Маши?

– Мне надо ей все объяснить. Но это так сложно!

– Сказать ей правду?

– Да. Она ничего плохого мне не сделала, ждала меня с рейса. И тут – здрасте, прости меня, Маша, я люблю чужую жену.

– Тоже вариант. – Лариса съежилась от холода. – Что-то я не хочу сегодня больше гулять, проводи меня до остановки, мне к дочке пора.

– Ты что, обиделась? У нас же нет секретов! Мы же друг другу договорились говорить правду. Не надо обижаться! Мы с тобой одно целое!

– Тогда почему ты до сих пор Маше про нас не рассказал? Может быть, ты и с ней еще встречаешься?

– Ты с ума сошла! Что ты такое говоришь. Какая же ты глупая!

– Я никогда умом не отличалась! Это Маша твоя в институте учится, а нам, парикмахершам, головы бы стричь и на танцы бегать.

– Лариса, ну не начинай! Я не хочу ссориться!

– А никто с тобой и не ссорится, мне домой пора, – буркнула Лариса. – Пока!

Она вскочила в подъехавший автобус. Володя даже не успел опомниться, как Лариса уже махала ему.

А теперь она не находила себе места. Все делала на автомате: занималась ребенком, домом, ходила по магазинам, готовила и чувствовала оглушающую пустоту. Володя не звонил. Через месяц должен был

вернуться Петя из плавания. Лариса твердо решила с ним развестись. Жить с мужем после того, что случилось, она больше не сможет.

Через какое-то время она поняла, что беременна. А Володя все не объявлялся.

Валя пришла к ней в гости и принесла Жене новый костюмчик из «Альбатроса».

- С чего вдруг такая щедрость, мам?
- Ну как же, мы с Женечкой пойдем гулять, она должна прилично выглядеть.
- А, да, забыла, она же сейчас неприлично выглядит!
- Лариса, ну что ты все время меня подначиваешь?
- Да ничего я не подначиваю! Лучше скажи, Светка звонила? Как она там устроилась?
- Плохо. С парнем из Чехословакии встречается. Страшненький такой, она фотографию прислала, ножки коротенькие, ручки маленькие.
- Карлик, что ли?
- Ну почему сразу карлик? Просто не очень симпатичный, но человек хороший! На параллельном курсе учится. Светке подарков столько надарил!
- Так и порадуйся за нее!
- Я и радуюсь, но вдруг он ее в Чехословакию увезет?
- Она что, чемодан, что ее увезти можно?

Ларису внезапно замутило, и она побежала в туалет.

Валя подошла к двери и прислушалась. Не успела Лариса выйти, как Валя прямо спросила ее:

- Ты отравилась или беременна?
- Вытерев губы, Лариса промямлила:
- Лучше бы я отравилась... Беременна.
- Ты с ума сошла! У тебя же муж в море пять с половиной месяцев!
- Я в курсе. Это, как ты понимаешь, не от Пети...
- Лара, – вскрикнула Валя, – что же ты делаешь? Ты хоть понимаешь последствия? От кого хоть, знаешь?
- Конечно, нет, – хмыкнула Лариса.
- В такой ситуации ты еще и хамишь, – тихо сказала Валя
- От Володи... Мам, ты же хотела погулять с Женей? Валя одела ребенка в то, что было под рукой. Ее подарок остался на столе.

Проводив мать с дочкой, Лариса открыла форточку, опустила на стул и закурила. «Как такое могло произойти... – размышляла она. – Мы предохранялись, все было под контролем, и что теперь? Володя наверняка удивится. Петя переживет, а вот отец будет рвать и метать. Мать на аборте будет настаивать». Лариса вздохнула, показалось, что ей

не хватает воздуха. «Курить, наверное, надо бросить», – мимоходом подумала она.

Когда Валя пришла с прогулки, Лариса спала. Сонная, она поплелась к двери и подумала, что сейчас больше всего на свете ей хочется остаться одной. Валя как будто прочла ее мысли.

- Лара, мы обо всем поговорим позже. Давай я заберу Женю на два дня, а ты выписься, сходишь к врачу, узнаешь точно, какой срок, и потом я позвоню знакомому доктору, он все сделает так, что никто ни о чем не догадается.
- Я буду тебе благодарна, если с Женькой посидишь. Мне правда надо отдохнуть. Я устала.
- От чего ты устала? Наделала ты дел, Лариса...
- Мам, давай я дочь покормлю и провожу вас.

Лариса назначила встречу Володе. Они встретились на своем излюбленном месте возле Дома культуры. Лариса выглядела усталой. Серые мешки под глазами невозможно было замазать. Она натянула джинсы и обнаружила, что пуговица уже застегивается с трудом.

Володя был как всегда свеж, красив и элегантен. Он обнял Ларису и прижал к себе.

- Привет! Что за срочное дело?
- Привет, – улыбнулась Лариса. – Мне надо тебе кое-что сказать. Это важно...
- Что-то случилось? Надеюсь, ты не беременна?

Ларисе показалось, что у нее пропал голос и она не может говорить. Она посмотрела под ноги. Начиналась осень, самое красивое и приятное время в Мурманске. Первые две недели сентября – потом начинался холод и ожидание полярной ночи. А в сентябре краснели листья на деревьях, было тепло, и стоял необыкновенный запах.

- А если бы я была беременна, что тогда?
- Не пугай меня, Лариса, я не готов к такой ответственности. Я не хочу никаких детей. Ну разве нам с тобой плохо? – Володя нежно притянул ее к себе. – Я скучал по тебе! И знаешь, что я подумал: у меня через месяц отпуск, поехали на море? Я билеты куплю, смотаемся на недельку, а потом вернемся.
- И что будем делать?
- Ты уйдешь от Пети, начнешь готовиться к поступлению в институт, не могу же я встречаться с чужой женой и женщиной без образования. – Володя улыбнулся и подмигнул Ларисе.

Проходящая мимо девочка с наслаждением ела мороженое. Лариса посмотрела на это мороженое, и тяжелая волна подступила к горлу, ее затоснило. Она отскочила от Володи к огромному дереву, и ее вырвало. Она стояла, опершись о ствол, и ей

хотелось лечь под это дерево и больше не вставать никогда. Володя подошел к ней.

– Ты беременна? – спросил он уже без улыбки.

Лариса молча кивнула в ответ.

– Давно?

– Сам посчитай.

– Значит, у нас есть еще время.

– Ты хочешь, чтобы я сделала аборт?

– А ты хочешь превратиться в тетку без образования с двумя детьми и погрязнуть в быту, потратив на это свои лучшие годы? Я не готов...

– Тебя никто и не просит подготавливаться. Можешь идти к своей Маше шампанское пить...

– Лариса, успокойся, пожалуйста. Тебе нельзя нервничать!

– Это почему же? Завтра на аборт запишемся, вычистим меня, как засорившуюся трубу, потом на самолет и в Гагры! Так ты себе это представляешь? Володя протянул Ларисе платок.

– Вытри губы, они испачканы.

Лариса провела платком по губам и засунула его в карман Володе.

– На память, – сказала она и пошла в сторону центра. Володя пошел за ней. Взял ее за плечо.

– Подожди! Не пори горячку...

– Руки убери. – Лариса дернула плечом. – Все нормально, я сама разберусь. Не иди за мной.

Дома она приняла ванну и легла в кровать, свернувшись калачиком.

«Будь что будет», – подумала она и быстро уснула.

Ей снился сон: она где-то в горах, вокруг много песка и людей. Все говорят о том, что произошла катастрофа. Спасти можно, только если они пройдут к песчаным дюнам, но дороги к ним не видно. И вдруг Лариса видит лестницу наверх, она поднимается по ней и оказывается возле бассейна. Она спрашивает у женщин в купальных шапочках, как дела. Ей отвечают, что хорошо, но она видит, что все натянуто улыбаются и держатся за край бассейна. А в бассейне грязная и холодная вода. Внезапно появляется Володя и пытается столкнуть ее в этот бассейн. «Тебе понравится, – говорит он, – посмотри, как много здесь знакомых!» И она видит, что вокруг плавают трупы.

Лариса открыла глаза. Было четыре часа утра. Она прошлепала на кухню, выглянула в окно: не было ни души, а под окном выла собака. Лариса закрыла форточку и вернулась в постель.

Утром она пошла в женскую консультацию. Врач, женщина средних лет, строго спросила:

– Месячные когда были в последний раз?

– Не помню. Месяца два-три назад...

– Календарик вести надо. Вы уже не девочка, чтобы элементарные вещи не записывать.

– Сегодня же заведу, – буркнула Лариса.

Срок оказался двенадцать недель. Аборт можно было сделать в течение одной недели, иначе будет поздно.

Лариса сидела на кухне у Вали и держала Женю на руках.

– Когда Петя возвращается?

– Через месяц.

– Значит, время еще есть. Володе сказала?

Лариса опустила голову

– Предлагает сделать аборт.

– Такой же, как и все... А ты сама что хочешь?

– Не знаю... Даже непривычно, что ты меня об этом спрашиваешь. Страшно мне.

– Конечно, страшно. Что будешь делать, решила?

– Пока нет.

Дома она написала письмо мужу, высказала все, что всегда хотела сказать, но не решалась. Беременность от другого мужчины скрывать не стала, предупредила, что подает на развод и на алименты. В конце добавила, что для нее самое страшное – это жить без любви, и пожелала Пете встретить свое настоящее счастье.

Письмо было сухим и лаконичным. Лариса особо не переживала, что будет испытывать Петя, когда прочтет это письмо. «Так будет лучше для всех, – решила она. – Это все-таки моя жизнь, а не Петина».

Вечером пришла расстроенная Валя и принесла домашнюю настойку.

– Давай, Ларочка, выпьем по чарочке.

– Мам, ты что? Я же беременна.

– Немного можно. Все идет наперекосяк.

– Что случилось?

– Этот карлик из Чехословакии Светке замуж предложил выйти, и она согласилась... Он ее как пить дать увезет к себе.

– И ты переживаешь, что останешься одна?

– Конечно! Я ее не для того в Ленинград учить отправила. Я не буду ее видеть, она выскочит замуж и уедет в Чехословакию, родит там таких же лилипутов и будет всю жизнь горбатиться на кухне, капусту с сосисками тушить. Для этого я жизнь свою вам посвятила, себе во всем отказывала, света белого не видела, измени терпела, чтобы у детей отец был...

– А почему ты с ним не развелась? Зачем столько лет терпела?

– Не знаю. Он мне мозги запудрил, в молодости говорил, что как только меня другой мужчина обнимет, его в эту секунду волна смоеет. Я боялась

первое время на мужиков смотреть, думала, что он погибнет, а я виноватой буду. А потом, у меня же образования законченного нет, вы на руках...

Я как представляла, что одна с детьми остаюсь, дурно становилось, а он этим пользовался...

И тут Валя разрыдалась. Так по-настоящему, по-женски. Как будто не дочери своей душу открывала, а близкой подруге. Женька, увидев, что бабушка плачет, тоже начала реветь. Лариса пыталась успокоить Женьку и мать одновременно, с Женькой на руках подбегала к матери, гладила ее по голове. Тут она споткнулась о Женин стульчик и разбила детскую стеклянную бутылку. Осколок врезался в стопу. Из ноги хлынула кровь.

– Мам, помоги, – крикнула Лариса.

Валя подскочила к дочери, взяла ребенка и быстро положила орущую Женьку в кровать. Помогла Ларисе дойти до ванной, включила холодную воду. Лариса подставила ногу под струю.

– Ничего, сейчас обрабатываем. У тебя перекись есть?

– Нет...

– Ну как же так... – начала была Валя, но потом опомнилась. – Зеленка найдется?

– В шкафу. – Лариса кивнула на шкафчик в ванной.

– Сейчас бы кровь дракона помогла, которую папа привозит, но обойдемся без нее...

– Вот только крови дракона нам и не хватает, – сказала Лариса, и две женщины засмеялись.

Потом они пили чай. Лариса с забинтованной ногой передвигалась по кухне, помогая Вале накрыть на стол.

– Да сядь, не скачи, сама все сделаю. Или, думаешь, не справлюсь?

– Стол накрыть? – уточнила Лариса.

И они опять засмеялись.

– Знаешь, почему я никогда не любила мыть посуду?

– Почему?

– С фарфора плохо жесткой водой смывается мыло.

– Не знала, я это не замечала. Я где-то вычитала, что, когда моешь посуду, активизируются клетки мозга, я поэтому так много посуды ставила на стол, чтобы эти клетки у тебя активизировались. Надо было сказать тебе...

– Ну как видишь, не помог твой метод, – улыбнулась Лариса.

– Ничего. Все наладится.

– Я письмо Пете написала и все ему рассказала.

– И правильно сделала! Как сына назовешь?

Лариса застыла как вкопанная.

– Мам, ты чего? Ты же хотела меня к врачу записать?

Валя обняла дочь и прижала к себе. Лариса немало съезжилась: она не привыкла к материнским ласкам. Валя ослабила объятия.

– Знаешь, я тут подумала – срок большой уже. Володька парень красивый, ребенок тоже красивый будет. Не от уродов же рожать. Что мы его, не воспитаем? И потом, двое детей всегда лучше, чем один.

Лариса еле проговорила:

– Воспитаем, конечно... Но я остаюсь одна с двумя детьми без высшего образования, – неожиданно для себя она повторила слова Володи.

– Поступить можно на заочный, а во всем остальном я помогу.

– Спасибо, мама, тебе за поддержку. Ты не передумаешь завтра?

– Не передумаю. Что мы с тобой все время ругаемся? Живем как кошка с собакой.

– Да ладно, я уже привыкла... Ты никогда ко мне с любовью не относилась, наверное, у тебя были причины.

– Прости меня... Вся моя жизнь прошла через одно место...

– А что мы папе скажем? Я как представлю его реакцию, мне плохо становится...

– А папе я скажу, если он будет нам нервы трепать, мы его «квартирантов» позовем на помощь. Не переживай! Уж кто-кто, а папа тебе не судья!

Лариса улыбнулась. Валя вскрикнула.

– Ты же костюмчик не посмотрела, который я Женьке в «Альбатросе» купила. Пойдем посмотрим! Я еще с размером сомневалась, ну хорошо, что белый взяла, второй будет донашивать.

– А вдруг это девочка будет?

– Ну и пусть девочка, главное, чтобы она счастливой была!

И они пошли рассматривать костюмчик для Женьки, которая, вдоволь наревевшись, спала в своей кровати.



БЫЛОЕ И ДУМЫ

ВМЕСТЕ С ЯВЬЮ



ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
Поэт, прозаик, переводчик,
один из основателей
СМОГа. Родился в 1946 году
в Перми. Онучил отде-
ление истории и теории
искусства исторического
факультета Московского
государственного универ-

ситета имени М.В. Ломо-
носова. Автор множества
книг стихов и прозы. Член
Союза писателей Москвы,
Союза писателей XXI века
и Высшего творческого
совета этого Союза. Член
ПЕН-клуба. Живет в Москве
и Нонтебеле.

- Скажи мне честно, Володя, скажи мне открыто и прямо, скажи мне как на духу, по-дружески, да и по-свойски, – ты сможешь когда-нибудь, ну, там, в том самом грядущем, которое, как ни крути, однажды все же придет, да, придет, написать обо мне? – спросил меня как-то, давно, в семидесятых, Зверев.
- Я ответил ему:
- Смогу.
- И Зверев тогда улыбнулся, и глаза его влажными стали, и лицо его посветлело, и сказал он свое:
- Хорэ!

Да, хорэ. Сквозь время – хорэ.
Ночь. Луна в литом серебре.
Или солнце – и ясный день.
Из былого – сквозь строки – тень.
Или – взгляд. Или – зов. Сквозь боль.
Век таков. Такова юдоль.
Или – творчество: навсегда.
В небе хмуром – сквозь хмарь – звезда.

- Зверев немного подумал и сказал мне:
- Знаешь, Володя, все-таки я не один такой вот, как есть. Особенный. Нас, между прочим, немало. Нас, художников наших. И есть среди них достойные, талантливые. И поэтому, если ты будешь писать когда-нибудь обо мне и обо всем, что было в трудное наше время, то пиши уж и о других. И о поэтах наших. И о прозаиках наших. А еще и о людях разных, колоритных, из нашей среды. Потому что все мы, конечно же, это факт, единое целое. Как нас потом назовут? Небось, придумают что-нибудь, этакое выразительное, скорее

всего, название. И все тогда согласятся с этим. А ты – пиши. Не обо мне одном. Обо всех нас. Поскольку мы – не какой-нибудь сброд. Мы – явление. И таких, как мы, я считаю, днем с огнем не найдешь нигде – ни в Америке, ни в Париже. Мы – на родине у себя появились – и состоялись. И останемся здесь – навсегда, я считаю, в искусстве нашем. И в поэзии нашей, и в прозе. То есть в том, что мы создаем, – и еще, даст Бог, создадим. В нашем – личном и общем – творчестве. Так – разумнее. Справедливее. Так я думаю. Ты понимаешь?

Я ответил:

– Да, понимаю. Постараюсь я написать и о других художниках. И не только о них, разумеется. Обо всей нашей славной братии.

Зверев сказал:

– Пиши. Я тебя – благословляю. И говорю: хорэ!

Мы стояли вдвоем со Зверевым в незнакомом каком-то дворе.

Это было – припоминаю – поздней осенью, в ноябре.

Листья жухлые под ногами. Ветер, холод, ледок, снежок.

Небеса, свинцовые, низкие. Окна – в ряд. Иногда – в кружок.

Гул столичный. Предзимья веянье. Предвечерья печальный час.

Стены, вставшие за деревьями. Чувств и слов золотой запас.

Разгоравшиеся поблизости неприкаянные огни.

Мы стояли вдвоем со Зверевым в мире этом – совсем одни.

– Куда же податься нам? – спросил задумчиво Зверев.

Я ответил:

– Куда-нибудь.

– А точнее?

– Надо подумать.

– Будем вместе думать?

– Давай.

– Думы, думы, вы так угрюмы!

– Ты опять говорить будешь в рифму?

– Захочу – и буду. А что?

– Говори, если очень хочется.

– Почему-то уже не хочется.

– Почему?

– Да откуда я знаю?

– Что ж, понятно.

– А мне, представь себе, непонятно.

– Бывает всякое.

– Вот и я говорю: бывает.

– Но куда мы пойдем?

– Вперед!

И мы зашагали – вперед.

Отправились – в никуда?

Нет, пожалуй. Туда, где вечер наступал, надвигался всею темнотой своей на столицу. Где огней становилось все больше, а людей – все меньше и меньше на окрестных всех тротуарах. Где машины с зажженными фарами проносились – все мимо и мимо. Мимо нас, бредущих задумчиво сквозь вечерний предзимний мир. Мимо редких деревьев с последними, облететь не успевшими листьями. Шли и шли мы. Туда, где, может быть, примут нас, где удастся время скоротать,

Мы решили пойти со Зверевым – так уж вышло однажды – в Сокольники.
И не просто так – погулять, побродить по местам знакомым.
Но – на встречу с друзьями нашими. Нас они должны были ждать.
Где? Да там, где мы с ними условились повидаться, в назначенный час.

И пришли мы на встречу – вовремя.
И увидели – издалека – всех троих наших славных друзей.
Почему же – издалека?

Потому что наши друзья были слишком заметными, были, как известно, людьми высокими. Каждый – метр девяносто с лишним. И сидели они на скамейке, возвышаясь на нею, как некие небывалые вертикали, или – вежи, или – столпы, или – может, и так, – изваяния, но – живые, само собою, да еще какие живые! – жизни было в них столько тогда, что хватило бы и на сотню современников, – и бурлила в них жизнь, да так, что летели искры электрические от них, рассыпались в разные стороны с треском, вверх высоко взмывали, окружали их ореолом, жгучим, жарким, вполне знакомым и привычным – для всех троих.

На скамейке сидели – Игорь Ворошилов, похоже – трезвый, узкилицый и длинноносый, в старом плашике тесном, Веня Ерофеев, со светлым чубом, развевавшимся на ветру, словно знамя, и Рафаэль Зинатулин, худой, очкастый.

И они – все трое, все разом, – говорили, да так увлеченно, вдохновенно, о чем-то важном, было ясно, для всех троих, – что слова их взлетали, казалось, вверх, с осенними листьями вместе, и кружились над ними в воздухе, и на землю совсем не падали, оставаясь там, наверху, где сгустился в облачном небе, чтобы там задержаться подольше, ясный, тихий, волшебной музыкой нараставший, звучащий свет.

Я хотел было ринуться к ним – но Зверев как-то внезапно, беспокойно, меня удержал.

Кивнул головой в сторону – и прошептал:

– Менты!

Потом взгляделся куда-то – и уточнил:

– Нет, мент. Один. Пока что – один. Но все равно ведь – мент.

Посмотрел я туда, куда он кивал, напрягаясь, волнуясь, – и тоже увидел мента.

Одного. Настоящего. В форме.

Это был человек небольшого, даже маленького росточка.

Но, как Зверев говаривал, – враг.

И этот маленький мент, которого наши друзья не видели, разумеется, потому что сидели спинами к нему и вели свои разговоры, – какую-то прыть проявлял, охотничью прямо, и вкрадчивыми шагами приближался сзади к скамейке, где сидела дружная троица.

Зверев сказал:

– Подожди. Не спеши. Посмотрим, что будет.

Я ответил:

– Давай подождем.

А наши друзья – говорили.

Ворошилов:

– Хлебников – гений! Угол зрения – вот что важно. Зорким стань – и ты все поймешь!

- Ерофеев:
– Кстати, у Ибсена есть один любопытный ход. Он для прозы – незаменим.
Зинатулин:
– Суры Корана, я скажу вам, – это поэзия!
Ворошилов:
– Помню, когда прочитал я Бёме впервые, мне открылось такое, братцы, что прозрел я тогда навек!
Ерофеев:
– Пер Гюнт! Вот это Скандинавия! Это музыка!
Зинатулин:
– Восток! Хайям! Авиценна! Дервиши, суфии!

И так далее. Как ни странно, разнобоя в словах друзей вроде не было. И друг друга хорошо они понимали.

- Зверев тихо пробормотал:
– Ну и умные ребяташки!
Я ответил:
– Что есть, то есть.
Зверев:
– Им бы в Кремле сидеть – да страной управлять оттуда.
Я:
– Никто их не пустит в Кремль.
Зверев:
– Знаю. Да я шучу.
Я:
– Ребятки у нас – образованные.
Зверев:
– Ум – хорошо. У них, получается, – ум тройной. Как известный одеколон. Но не ум – один на троих. Три ума. И заметь, все – разные.

Между тем этот маленький мент почти подобрался к скамейке, на которой столь увлеченно говорили наши друзья.

Видимо, вообразил, что они выпивают. Иначе – зачем же им громко так говорить? На трезвую голову по-другому совсем говорят.

- И вот этот маленький мент подошел вплотную к скамейке.
И – за спинами у ребят – завопил повелительным тоном:
– Так! Попались? Что, распиваете? Доигрались? А ну-ка – встать!
И друзья наши – переглянулись меж собою, недоуменно и спокойно. И – встали тогда.

И внимательно посмотрели – с высоты своей – вниз, на мента.

- Ворошилов сказал:
– Приветствую!
Ерофеев сказал:
– Ну, здравствуйте!
Зинатулин воскликнул:
– Салам!
Ворошилов:
– Да здравствует Хлебников!
Ерофеев:
– И Северянин!
Зинатулин:
– И Авиценна!

- Мент, растерянно:
- Где вино?
- Ворошилов:
- Да нет вина!
- Мент:
- А водка? Где водку спрячете?
- Ерофеев:
- И водки нет. А была бы – давно бы выпили.
- Мент:
- А пиво? Пили вы что-нибудь?
- Зинатулин:
- Увы, не пили!
- Мент:
- А что же вы громко так говорили, не выпивая?
- Ворошилов:
- Беседы наши – философские. Рассуждаем о величии бытия.
- Ерофеев:
- Терминологию можем мы упростить, для вас.
- Зинатулин:
- Подкорректировать.
- Мент:
- Ну вот, развели антимию! Говорить вы горазды. Выходит, вы совсем ничего не пили?
- Ворошилов:
- Совсем ничего.
- Ерофеев:
- Ну да. А хотелось бы.
- Зинатулин:
- Совсем не пили!
- Мент:
- Не знаю, что и сказать!..
- Он стоял, растерянный, маленький, там, внизу, – а над ним возвышались трое наших богатырей.
- Гренадеры. Нет, великаны.
- С высоты почти двухметрового роста, как будто с башен, смотрели они сочувственно на маленького мента.
- Что ему оставалось делать?
- Мент сказал:
- Ну ладно. Бывайте! Только с выпивкой чтобы – ни-ни!
- И ребята, все вместе, воскликнули:
- Ну конечно же! Ясно. Прощайте!
- И мент ушел восвояси – куда-то. И растворился где-то там, далеко, – навсегда...
- И вспомнил я строки Хлебникова:
- И призраком ночной семьи застыли трое у скамьи.
Конечно же – с коррективами.
Из яви. А может – из сказки.
Из мифа. Или – предания.
Понятно, что – не семьи.
Тем более – не ночной.
А просто – дружеской троицы.

Но Хлебников был – я чувствовал это – совсем рядом.
А иначе вот здесь, в Сокольниках осенних, – и быть не могло.
Был, присутствовал, жил – за каждым словом и взглядом.
Смотрел на всех нас – внимательно, задумчиво и светло.

И тогда мне Зверев сказал:

- А теперь, Володя, пойдем! Заждались нас, видно, ребята!
- И сказал я:
- Да, Толя, пойдем!
- И мы подошли к друзьям.

Раздались восклицания наши, зазвучали в парке осеннем настоящей дружеской музыкой нашей встречи и наших имен:

- Здравствуй, Толя!
- Здравствуй, Володя!
- Здравствуй, Игорь!
- Веня, привет!
- Рафаэль, привет!
- Вот и встретились!
- Да, явились, не запылились.
- Нам пылиться, пожалуй, рано!
- А явиться – милое дело!
- Выпьем?
- Выпьем!
- А где?
- Найдем!
- Не впервой!
- Конечно!
- Еще бы!

И нашли мы то, что хотели, в павильоне каком-то дальнем.

И отправились – вглубь Сокольников, чтобы там быть поближе к природе и подальше от всяких ментов и подобных им раздражителей.

Пусть общению нашему дружескому в старом парке московском, в осеннюю, переполненную поэзией задушевной, чудесную пору не мешает отныне никто!

И там, в глубине лесной, можно сказать – в глуши, хотя эта глушь лесная находилась в столичном городе, но была, тем не менее, в нем отдаленной от шума и гула, от любых примет городских, и казалась нам полной свободой, драгоценной, желанной волей из преданий, песен и сказок, откровением, нам дарованным на какое-то время, и явленным, в чем сомнений не было, свыше, выпивали мы, не спеша никуда, чинно, скромно, на свежем воздухе, – и, конечно же, говорили.

Разговоры прежние наши – вовсе не были болтовней.

Разговоры были – серьезными.

Нас поддерживали они.

Помогали нам – выживать.

Помогали сплотиться нам, ощутить единство среды нашей давней, отзывчивой, дружной – и, что самое важное, творческой.

Не хватило тогда нам выпивки.

Захотелось нам всем – продолжить.

Только денег у нас – уже не было.

его похмельные подвиги, на скитания бесконечные по Москве, по разным зна-
комым, и приятелям, и друзьям, умудрялся везде он, куда бы ветром времени
беспощадным или жадой пространства его хоть однажды ни занесло, вопреки
любимым обстоятельствам и условиям неподходящим для спокойного творчества,
сложным, иногда и суровым, – работать.

Что в нем было – неадекватным?
Или, может быть, безобразным?
Или – кто его знает! – безумным?
Или – даже совсем уж диким?
Или... Что вам гадать напрасно?
И зачем нужно это вам?
Ничего такого – в нем не было.
Ничего подобного. Знайте.
Зверев был – человеком целостным.
Жил – искусством. Спасался – творчеством.
От всего, что ему мешало.
От всего ненужного, лишнего.
От всего, что было – чужим.
От всего, что было – не зверевским.
Не родным. Не личным. Не вечным.
И выходит – бесчеловечным.
И вело его в жизни – призвание.
И дарован был ему – дар.
Дар – огромный, как мир. От Бога.
Остальное – судьба и дорога.

* * *

– Да что они понимают, замухрышки эти, в искусстве! – однажды воскликнул
Зверев. – Не дано им, вот что скажу я убежденно вполне, – понимать. Притво-
ряются, что понимают. Имитируют понимание. А искусство – это – ну как объ-
яснить поточнее? – чудо. Ну откуда оно берется? Почему у одних – оно есть,
а других оно словно обходит стороной всегда? Почему? Потому что искус-
ство – единство земной, так я думаю, истины – и небесной извечной правды.
Истина – в опыте нашем. А правда – в даре, который дан, как известно, – свыше.
Тот, кто сумеет это в творчестве соединить – тот создает искусство. К тому
же следует помнить, что искусство – не блажь, а труд. И причем – огромный.
Такой, что его еще надо выдержать. Тот, кто выдержит, – победит. Вот что
я говорю сейчас. И могу, если это надо, подписаться под каждым словом.

Я внимательно слушал его.

Мы снова были с ним в Свиблове, в переполненном страхами Гиблове, как его
называл обычно в прежние годы Зверев.

Квартира, весьма унылая и какая-то беспросветная, была частично заполне-
на простейшей старую мебелью, но все равно казалась почему-то совсем пустой.

За окном – тоскливый пейзаж городской: вереница домов окрестных, ма-
лоприятных с виду, без всяких примет и отличий, почти одинаковых – просто
коробки бетонные, серые или белесые, приспособленные для жилья.

Шаткий стол. Два-три стула. Тахта. Шкаф. И сверху на нем, горой презритель-
ной, – работы зверевские.

Вот и вся обстановка гибловская.

Зверев резко поднялся с места. Походил немного по комнате. И – продолжил
свой монолог.

– Вот я, например. Какая жизнь у меня? Скажу. Тяжелая. Так уж вышло. Рисую – с детства. Всегда, сколько помню себя, рисовал. И сколько моих картинок – погребло, пропало! Не счесть! Мать моими этюдами маслом, бывало, печку топала. Сколько было их разбазарено, разбросано по каким-то полузабытым местам! Где их теперь искать? Да и надо ли их искать? И ничего, стерпел все эти безобразия. Снова и снова – работал. Считают, что сделал я тысяч тридцать картинок. Чушь! Сделал я тысяч триста, наверное. Никогда я их не считал. Рисовал – где придется, частенько. Чем придется. На чем придется. Да какая разница мне – где, и чем, и на чем рисовать! Я художник. И, значит, могу рисовать тем, что есть под рукой. Были б только – подъем, полет. Вдохновение. Так называют знатоки состояние это. Я, конечно, не возражаю. Вдохновение? Пусть и так. Иногда – в газете какой-нибудь фотографию вдруг увижу, оттолкнусь от нее – и рисую. Возникает – изображение. Получается – преобразование. Так вот, вроде из ничего. А на деле – считай, волшебство. Иногда – рисую по памяти. Иногда – рисую с натуры. Иногда – в музей хожу, для развития, для культуры. Мне по нраву – любая техника. А не только одна акварель. И бывает – новую технику я придумываю, на ходу, вдруг, внезапно, под настроение. Так что я, выходит, художник – многогранный, универсальный. Есть фантазия. Есть кураж. Есть талант. Все это – при мне. Только помню советую всем: рисование – это работа. Например, акварель. Казалось бы, это совсем легко. Два-три акцента, пробелы, чтобы воздух в работе был. Вот и все. Но попробует пусть кто-нибудь это сделать так, как один я умею делать! Чтоб работа – долго жила. Чтоб того, кого рисовал я, в самом деле – увековечить! Так что все это – ох, как непросто! И, конечно же, хорошо, что – непросто. Поскольку так – интереснее жить и работать. И поэтому – необходимо и пожить еще, и поработать. Вот мой нынешний лозунг. Хорэ!..

И я ощутил тогда, что время свободно раздвинулось, разлилось широко в пространстве, слилось с ним в единое целое, – и там, далеко, высоко, за окном, за бетонными стенами, за всеми домами окрестными, в ненастном, сумрачном небе, над эпохой нашей грозной, сквозь дни ее и года, – возникло сияние звездное, чтоб остаться там – навсегда...

* * *

.....
...Гость нежданный в той комнатухе, где однажды я обитал и куда, навещать меня, заявился с выпивкой Зверев.

Гость – случайный. Но вроде по делу появился здесь. Как-то мнетса. Но потом – набирается храбрости. Обращается к Звереву:

– Толя!

Зверев, как говорят, ноль внимания.

Гость тогда говорит:

– Анатолий!

Зверев снова – не реагирует на такое вот обращение к нему совсем незнакомому, непонятному человеку.

Гость опять говорит:

– Анатолий Тимофеевич! Вы меня слышите?

Зверев, глухо и кратко:

– Слышу.

– Вы могли бы сейчас...

– Что – мог бы?

– Написать трактат.

– Что?

- Трактат. Говорят, вы их здорово пишете.
– Что сказал ты? А ну, повтори!
– Вы могли бы трактат написать?
– Я могу, старик, очень многое написать.
– И трактат?
– И трактат.
– Напишите трактат.
– О чем?
– Как – о чем? Надо сообразить. Об искусстве вы вроде писали. Напишите трактат – о погоде.
Зверев, коротко:
– Десять рублей.
– Что, сумеете?
Зверев:
– Двадцать.
Гость опешил:
– Ну, аппетиты...
Зверев, резко и твердо:
– Тридцать.
Гость подумал немного. Потом произнес, осмелев:
– Я согласен.
Зверев:
– Что там сейчас за погода?
Гость, слегка озадаченно:
– Где?
Зверев:
– Там, за окном. На улице.
Гость:
– На улице? Дождь идет. Зябко, сыро. В общем, невесело.
Зверев:
– Деньги мне покажи!
Гость, порывшись в карманах:
– Вот! Ровно тридцать рублей.
Зверев:
– Ладно. Хорошо. А на чем писать? Да и чем?
Гость:
– А вот и тетрадь, новенькая. И ручка. Заграничная ручка. Отличная.
Зверев, хмуро:
– Давай тетрадь. И свою заграничную ручку.
Гость на стол положил тетрадь. Рядом с ней положил он ручку.
Зверев молча раскрыл тетрадь. Взял в свою артистичную руку заграничную ручку. Подумав, написал заголовок, простой и понятный: «Трактат о погоде». И – немедленно начал писать.
Он писал до тех пор, пока вся тетрадь не была заполнена размышлениями художника, размышлениями – о погоде.
Он сложил тетрадь. Протянул ее, вместе с ручкой, неожиданному гостю. И сказал:
– Теперь – гонорар.
Гость воскликнул:
– А можно мне посмотреть сначала?
И Зверев разрешил ему это:
– Смотри.
Гость сразу же начал читать творение свежее зверевское.

- И – втянулся. И прочитал все, что было в тетради написано.
В это время Зверев смотрел на допитую бутылку вина. И грустнел, на глазах.
Гость закончил чтение. Встал. И сказал:
- Ничего подобного не читал я. Это – шедевр.
- Зверев буркнул в ответ:
- Бывает.
- Гость сказал:
- Вот, пожалуйста, ваш гонорар. Здесь тридцать рублей. А трактат ваш – я сохранию.
- Зверев деньги небрежно взял. И сказал, со значением, гостю:
- Разрешаю хранить трактат. Деньги есть еще?
- Гость, растерянно и немного волнуясь:
- Есть.
- Зверев, грозно, ему:
- Покажи!
- Гость достал кошелек свой:
- Вот!
- Зверев:
- Слушай, старик! Алейников – гениальный поэт, – и широким жестом, дружеским, рыцарским, щедрым показал на меня, – он бездомничает. И ему, как и мне, нужны тоже средства к существованию. Понимаешь меня?
- Гость взглянул на меня и сказал:
- Понимаю.
- Обратился Зверев ко мне:
- Ты скажи мне, Володя, – сейчас у тебя в портфеле найдется хоть один, какой уж там есть, самиздатовский сборник твой?
- Я открыл портфель. Посмотрел, что в нем есть. И сборник нашелся. Положил я на стол его:
- Вот он.
- Зверев – гостю:
- Купи у Володи самиздатовский сборник его. Ты об этом не пожалеешь. Будешь долго потом вспоминать нашу встречу. Ты меня понял?
- Гость спросил:
- Сколько стоит сборник?
- Зверев сразу сказал:
- Четвертную.
- Гость сказал:
- Так и быть. Куплю этот сборник, не за четвертную, а за тридцать рублей, маэстро, как и ваш трактат о погоде.
- Зверев это одобрил:
- Лады!
- Гость открыл кошелек. Достал ровно тридцать рублей оттуда. Протянул мне деньги:
- Держите!
- Я сказал ему:
- Благодарю.
- Зверев – мне:
- Подпиши ему сборник. Внуки лет через сколько-то там, да неважно ведь, через сколько, в общем – в будущем, продадут за приличную сумму. Я знаю, так и будет. Им хватит на жизнь.
- Подписал я свой сборник – и молча протянул его нашему гостю.
Он сказал:

- Спасибо, Владимир!
Зверев – гостю:
- Давай трактат!
Гость:
- Зачем еще?
– Подпишу!
– Да, конечно, конечно. Вот он.
– Как зовут? Фамилия, имя, да и отчество.
Гость сказал.
Зверев свой трактат подписал. Протянул его гостю:
- Держи!
Гость воскликнул:
– Спасибо, спасибо!
Зверев:
– Не за что.
Гость:
– Я так рад!
Зверев:
– Слушай, трактат – о погоде. А погода сегодня – скверная. Настроение – тоже неважное. Вот десятка. Сгоняй в магазин. Это близко, здесь, за углом. И купи там побольше выпивки. Ну а если что-то останется, то купи тогда и закуски.
Гость сказал:
– Я согласен. Я мигом!
Подхватил десятку – и ринулся, во весь дух, поскорее, за дверь.
Не прошло и пяти минут, как вернулся он к нам, промокший под дождем, но довольный, с выпивкой и закуской:
- Я все купил!
Зверев:
– Здорово! Ты молодец.
Гость спросил:
– Мне теперь уходить?
Зверев:
– Нет! Посиди-ка с нами. Обогрейся немного. Высохни. Предлагаю втроем нам выпить. И, поскольку закуска имеется, то немного и закусить.
И мы, разумеется, выпили. И закусили. Втроем.
А потом – говорили мы. Долго. Обо всем на свете. Втроем.
И день дождливый сменился вечером, тоже дождливым, но это ведь – там, за окном, а в комнате нашей – тепло и спокойно. И мы – говорили. Об искусстве, о жизни. И я читал в тот вечер стихи. И Зверев их слушал внимательно, и глаза его были влажными.
А гость сказал нам:
– Я счастлив, что познакомился с вами!
Ближе к ночи наш гость ушел, унося с собою трактат о погоде, зверевский, с подписью, и мой самиздатовский сборник стихов, тоже с подписью. Был он в самом деле доволен и счастлив.
Жаль, что я позабыл, как звали нежданного нашего гостя.
Важно то, что он – был. Давно. В ту эпоху, что отшумела, вместе с ветром, с дождями, со снегом, со скитаниями, бездомицами, с тем, что сердцу дорого было, вопреки неурядицам всяким и невзгодам, со всем, что выжить нам помогало, что было явью, настоящей, что сердцу дорого и сейчас, потому что в нем было главное – наше творчество, что спасало нас и хранило, если даже нам приходилось временами играть с огнем...

И поэтому нам со Зверевым было что рассказать друг другу, было что показать современникам – и стихи мои прежних лет, и картинки тогдашние зверевские.

Никогда у нас не было ревности – к тому, что создал другой.

Были только, везде и всегда, – внимание и понимание.

Каждый был из нас – личностью. Вот что помнить следует всем сейчас.

Да, со Зверевым было – непросто.

Но зато – интересно. И Толе было, всюду, спокойней со мной.

Наша дружба длилась годами.

Хоть бывали и перерывы постоянно в общении нашем.

Иногда уезжал я надолго из Москвы. Путешествовал часто. Месяцами жил у родителей, в Кривом Роге, на Украине, в нашем доме, где много работал.

А когда в Москву возвращался, находил меня Зверев – сам.

И тогда – продолжались наши приключения и скитания.

Длилось это до той поры, для меня важнейшей, когда я женился, когда у меня наконец семья появилась.

И скитания многолетние завершились, к счастью, тогда.

И так получилось, что видеться со Зверевым я перестал.

И он, человек умнейший, понимал, почему так вышло.

Все ведь ясно – семья есть семья.

Появились потом у него и другие друзья. И помощники. Да и было знакомств у него предостаточно, хоть отбавляй.

Ну а годы нашей с ним дружбы – что же делать? – остались в прошлом.

Только память о них осталась. Но – какая память! Такая, что живет – и, я твердо знаю, – будет жить и в грядущем, где, безусловно, мы встретимся снова, будем к этому оба готовы, и порукою в этом – слово днесь, и – верность своей звезде.

* * *

.....
...Мы едем вдвоем со Зверевым. В такси. Как всегда. Так надо. Так Толе намного спокойнее. Так – менты не поймают на улице, не отнимут деньги последние, да вдобавок – не избыют. И, конечно же, так – удобнее, и комфортнее, это ясно и ежу, чем ехать в автобусе, или, вот уж чего не хочется, в толчее людской, где какая-то энергетика нехорошая, с запашком дурным, с едким привкусом безобразия, даже страшная, где любой к тебе может придрататься ни с того ни с сего, поскандалить, оскорбить, причем – под землей, что уже само по себе и ужасно, и просто дико, под землей, в длиннющих туннелях, то грохочущих поездами, то пустых совершенно, темных, ехать, мучась ежесекундно, и страдая, и напрягаясь от любого взгляда, любого кем-то брошенного словца, от любого прикосновения, в непрерывном шуме и грохоте, в постоянном чередовании темноты и тусклого света, не наземного, а подземного, ехать к цели своей – на метро.

Зверев меня попросил побыть с ним рядом сегодня. Поддержать его. Потому что для него это было важно.

Помощь другу – дело святое.

Круговая порука наша в годы прежние крепкой была.

Толя за мной заехал туда, где я, подустав от бездомных брожений долгих, временно обитал.

Ворвался ко мне:

– Привет!

Я откликнулся:

– Здравствуй, Толя!

- Ты готов к походу?
- Готов.
- Ну, тогда поедem, Володя. На такси. Потому что в Гиблово у меня, в квартире моей, будет очень важная встреча. С покупателями. С грузинами. Денег нет совсем. А грузины собираются вроде купить, так я понял, мои картинки.
- Все понятно. Поедем, Толя!
- Мы вышли на улицу, мокрую от дождя, недавно прошедшего.
- Поймали такси. Сказали адрес шоферу. Вместе устроились поудобнее на заднем сиденье. Поехали.
- Вначале – просто молчали.
- Потом – разговаривать стали.
- Перед каждой поездкой в Свиблово, или в Гиблово, как его Зверев пронизательно, как оказалось через годы, потом, называл, Толя нервничал – мало ли что может в этой квартире случиться? – и поэтому был я с ним, как и прежде порою, рядом.
- Ехали мы по центру столицы. Потом повернули прямо к Москве-реке.
- Справа был виден дом. Кирпичный. Отчасти похожий на терем. Старой постройки. Стоящий особняком от прочих домов. Как будто специально – от них в стороне.
- Зверев мотнул головой на этот кирпичный дом:
- Вот здесь все и началось!
- Я спросил его:
- Что началось?
- И Зверев ответил:
- Да все. Все, что потом со мной вскоре произошло. По судьбе, я так полагаю. В этом доме жил Фальк. И я бывал у него нередко. Туда меня Румнев привел. И Фальк, человек серьезный, проникся ко мне симпатией. И работы мои тогдашние привели его сразу в восторг. Живопись он понимал. И разбирался в ней намного лучше других. И сказал он тогда, что такие художники, представляешь, как я, да, так и сказал, рождаются раз в столетие. Вот с этого все, Володя, вскоре и началось.
- Я сказал:
- Конечно же, Фальк правильно все говорил.
- Зверев, тихо:
- Думаю, правильно.
- И, взглянув за стекло с дождевыми каплями, замолчал.
- Мы выехали из центра.
- Двигались в сторону Свиблова.
- Зверев снова заговорил:
- Все хорошее нарисовал я, и не спорь со мной понапрасну ты, Володя, до шестидесят пятого года. Потом – была сплошная халтура.
- Ну что ты заладил, Толя? – сказал я. – Какая халтура? Сколько потом, после этого странноватого рубежа, ты сделал прекрасных вещей! Первокласных вещей. Настоящих. Ты разве забыл об этом? Нет, не забыл. И не надо себя корить и терзать неизвестно за что. И откуда нынче взялось такое самоуничижение? Может быть, это всего лишь ностальгия по тем, далеким, дорогим для тебя временам? Жизнь, как видишь, идет. Продолжается. Ты в хорошей форме. И ты больше всех остальных работаешь. Пастернак говорил: поражения от побед не должен художник отличать. У тебя, согласишься, все равно – сплошная победа. Ты жив, слава богу. И ты – искусство свое создаешь.
- Зверев буркнул:
- Да, создаю.

Наконец мы приехали в Свиблово.

Зрелище, надо заметить, унылое. И тоскливое. Скучное. Безысходное. Бетонные серые стены. Спальный, как говорится, район. Глухой. Погребальный. Свиблово-Гиблово. Правильно Зверев его называл.

Мы выбрались из машины.

Зашли в подъезд мрачноватого, угрюмого и безликого, почти нереального дома.

Поднялись на нужный этаж.

Зверев порылся в карманах, достал ключи – и открыл скрипучую старую дверь.

Огляделся по сторонам – никого не видно, порядок.

И тогда мы зашли в квартиру.

И Зверев сразу же, резко, плотно захлопнул дверь.

Шумно вздохнул:

– Добрались!

Я подтвердил:

– Добрались.

Зверев слегка задумался.

Спросил:

– А который час?

Я взглянул на часы:

– Двенадцать.

Зверев:

– Скоро придут грузины.

Покачал головой лохматой.

Посмотрел на шкаф. На шкафу, доставая до потолка, внушительной, плотной кипой, лежали его работы.

Зверев сказал:

– Я чувствую, что эти грузины, желающие мои работы купить, прямо сейчас придут!

И действительно, в дверь позвонили.

Зверев тихо сказал мне:

– Открой!

Я открыл скрипучую дверь.

И в квартиру – ввалились грузины.

Оживленные, очень шумные.

Хорошо одетые. Свежие. Кто – с усами, кто – без усов.

Были вроде бы это киношники.

Развеселая, в общем, компания.

Начались восклицанья, приветствия.

– Мы приехали!

– Здравствуйте, Толя!

– Мы нашли вас довольно быстро.

– Где работы? Давайте смотреть.

Зверев руки всем им пожал.

Незаметно, платком носовым, руки вытер незамедлительно.

Сунул смятый платок в карман.

И сказал тогда:

– Всем привет!

И представил меня:

– Володя Алейников. Русский поэт.

– О, поэт! – сказали грузины. – Хорошо. Мы любим поэзию.

- Зверев – им:
– Вы садитесь. На стулья. На диван. Поместитесь все.
И грузины уселись, кто где. Все, как Толя сказал, разместились.
Театральная нужная пауза, незаметно образовавшись, как-то слишком уж затянулась.
- И сказали грузины:
– Толя, покажите работы. Мы ждем.
Зверев к шкафу придвинул стул.
И достал со шкафа – работы.
Так, не глядя. Целую груду.
Положил их, все оптом, на стол.
И сказал грузинам:
– Смотрите!
Все работы были – на ватманской бумаге. Довольно большими по формату.
И черно-белыми, и цветными. Все – выразительными, интересными. Разных лет.
Стали грузины бережно перебирать работы.
- О, какая вещь!
– И вот эта!
– И вот эта!
– Ах, красота!
Зверев молча смотрел на них.
Раз пришли, то пусть выбирают.
И грузины спрашивать начали.
– Сколько стоит вот эта вещь?
Зверев, коротко:
– Сто рублей.
– Мы берем. А вот эта вещь?
Зверев:
– Сто пятьдесят.
– Берем. А вот эта? И эта? И эта?
Зверев:
– Эти? По сто рублей.
– Так, берем. А вот эта, очень симпатичная акварель?
Зверев:
– Эта? Двести рублей.
– Хорошо. И эту берем.
Добрались грузины до скромного, не из лучших, рисунка.
Спросили:
– Сколько стоит?
И тут, неожиданно, Зверев молвил:
– Не продается.
– Почему? – зашумели грузины – Мы готовы купить рисунок.
Зверев, твердо:
– Не продается!
Загалдели грузины дружно:
– Почему он не продается? Мы готовы его купить!
Зверев, с ноткой стальной:
– Нельзя!
Зашумели грузины:
– Толя, ну пожалуйста! Ну продайте!
Зверев сделал вид, что задумался. И сказал им:
– Это шедевр.

- И грузины – переглянулись.
И воскликнули:
- Мы его купим!
 - Зверев этак вроде бы грустно и устало махнул рукой. И сказал им:
 - Ладно. Берите.
 - Взволновались тогда грузины:
 - Сколько стоит? Скажите, Толя!
 - Зверев, резко:
 - Триста рублей.
 - Растерялись грузины:
 - Толя, это все же дороговато. Столько денег мы не найдем!
 - Зверев, глядя на них в упор:
 - Нету денег – так не берите. Пусть шедевр у меня останется. Так спокойнее для души.
 - Посоветовались грузины. И воскликнули:
 - Мы берем!
 - Зверев – им:
 - Так и быть, берите.
 - И грузины – ему:
 - Хорошо!
 - Зашуршали грузины деньгами.
 - Протянули их Звереву:
 - Вот. За работы. Спасибо, Толя!
 - Зверев сунул деньги в карман.
 - И сказал грузинам:
 - Хорэ!
 - Что? – спросили грузины.
 - Хорэ. Это значит – все хорошо.
 - Интересно, – сказали грузины. – Мы не знали такого слова.
 - Зверев:
 - Да. Это было раньше. А теперь вы его – узнали. И словарь свой обогатили новым словом русским. Бодрит!
 - Что? – спросили грузины.
 - Бодрит. Все на свете сейчас – бодрит.
 - А, – сказали грузины. – Бодрит? Интересно. Пускай бодрит. Мы довольны.
 - Берем работы.
 - Принялись грузины сворачивать, аккуратно, в рулон, работы.
 - Зашуршала бумага.
 - Зверев им сказал тогда:
 - Осторожнее!
 - И грузины:
 - Да мы стараемся!
 - И увидели, что одна акварель была чуть измятой.
 - И спросили:
 - Как ее выпрямить?
 - Зверев:
 - Просто. Возьмите утюг. Теплый, помните. Не горячий. И с изнанки работу прогладьте утюгом. Вот и все дела. И работа опять будет ровной.
 - И сказали грузины:
 - Сделаем!
 - И сказали:
 - Спасибо, Толя!

- Благодарны мы вам.
- Спасибо.
Взяли купленные работы, весь рулон. Попрощались с нами:
- До свидания!
И – ушли.
Зверев дух перевел:
- Ну, все! Дело сделано. Полный порядок!
Извлек из шкафа чекушку водки. Плеснул в стаканы быстро:
- Давай дерябнем!
Выпили мы. И Зверев сказал мне:
- Спасибо, Володя!
- За что?
- За то, что был рядом. А то я изрядно нервничал.
- Если это тебе помогло сегодня, то не напрасно был я рядом. Все хорошо.
Зверев:
- Точно. Все хорошо.
Я спросил его:
- Слушай, Толя, почему ты рисунок, средний, согласишься-ка со мной, по уровню, оценил дороже других, тех, что были сильнее, работ?
И ответил тогда мне Зверев:
- Понимаешь, Володя, это был – театр. Абсурда, наверное. Только нужный и важный театр. Я назначил цену высокую специально. Чтобы грузины вдохновились – мол, это шедевр, как сказал я им, тоже – нарочно, чтобы этот рисунок мой, и действительно, не из лучших, так себе, среднего качества, который отдать не жалко и даром, они купили. Разыграл спектакль перед ними. И – добился ведь своего.
Я сказал ему:
- Ты и артист, и режиссер, выходит.
- Зверев, скромно:
- Я просто художник.
И сказал я:
- Да, ты – художник. Да еще какой! Настоящий.
Зверев – мне:
- Понимаешь, зато деньги есть. Я отдам их детям. И отдам их матери. Надо мне родным своим помогать.
И сказал я:
- Ты правильно, Толя, поступаешь. Людям родным в мире нашем, весьма суровом, а нередко и слишком жестоким, надо, пусть и непросто это, несмотря ни на что, помогать.
Зверев:
- Да. Золотые слова.
Я взглянул на часы:
- Ого! Надо ехать мне. Через час у меня назначена встреча.
Зверев:
- Я подвезу тебя. На такси. Пора нам отсюда уезжать как можно скорее. Собирайся. Давай, пойдем!
И вышли мы из квартиры. И поймали такси. И уехали. Зверев – к родственникам своим. Я – на встречу, довольно важную для меня. Решили, что вскоре мы увидимся вновь. И действительно, мы встретились, дня через два.
Дружба – есть на Руси. Была? Там, в минувшем, осталась? Нет. Продолжается. И живет. Ясным светом и днесь исцеляет.

* * *

.....
...Когда-то – ну и зачин! – да что же поделать, если действительно это было, как ни крути, – когда-то.

Когда-то, в семидесятых, обитал я, конечно, временно, сколько-то дней всего, у хороших людей, которые приютили меня у себя, на Грайвороновской улице.

Грай вороный – вроде бы не был слышен на этой улице.

Зато тишины в квартире, когда уходили хозяева на работу, меня оставляя совсем одного, в пустоватой, холодноватой комнате, было – хоть отбавляй.

Тишины – одиночества. Долгого. Сросшегося со мной.

Тишины – с которой смиряться приходилось мне каждый день, из нескольких дней, проведенных на Грайвороновской улице.

Залетал в открытую форточку сырой, беспокойный ветер.

Будоражил меня. Потом – улетал куда-то обратно.

И тишина – въедалась в сознание, проникала в мысли, томила, мучила, изуверски меня раздражала.

Вроде бы раньше я любил тишину – но сейчас она, довлея над временем, идущим слишком уж медленно, сгущаясь над головой, нависая над всеми сложностями жизни моей невеселой, становилась невыносимой.

Никто не звонил мне. И я никому не звонил. Зачем? Кому я что-то скажу хорошее? Чем порадую знакомых? Нечем их радовать. Лучше – перетерпеть. Лучше – выстоять сызнова мне. Как и прежде – просто держаться.

Вот и держался. Выстаивал.

Это ведь – не впервой.

Многому научила меня бездомная жизнь.

Она затянулась надолго.

Было в ней мало толку?

Нет, предостаточно. Смысла – тоже, хоть отбавляй.

Закалка была – суровой.

Испытаний на прочность, неожиданных, непредвиденных, постоянных, неизбежных и окаянных, было столько, что несть им числа.

Но судьба – меня берегла.

Передышки давала мне. И возможности отдышаться, постепенно прийти в себя, чтобы с новыми силами дальше уходить в горнило скитаний, в завихренье ненастных дней.

И поэтому дорожил я вот такими, на время, пристанищами, как эта квартира тихая на Грайвороновской улице.

Хозяева мне оставили много бумаги – рулоны помятые, с чертежами, с какими-то мелкими цифрами.

Наверное, думали – стану что-нибудь я писать.

Но стал я тогда – рисовать.

День за днем – рисовал, рисовал.

И лежали груды рисунков – на столе, на полу, везде.

Ну а я – продолжал рисовать.

В чем спасение? Только в творчестве.

И – защита, от лютой, гнетущей, как туман, день за днем, тишины.

И рисунки ведь получались – интересными. Понимал я: эти серии – выражение всех моих одиноких дней.

И однажды утром раздался в дверь квартиры – громкий звонок.

Я открыл тяжелую дверь.

На пороге стоял – Толя Зверев.

- И воскликнул я:
- Толя! Ты?
- Зверев:
- Я!
 - Как меня ты нашел?
 - Сколько раз ты мне задавал этот странный вопрос? Нашел.
 - Проходи.
 - Прохожу.
 - Сюда. Здесь живу я. Вот в этой комнате.
 - Вижу.
- Зверев присел на стул. Огляделся вокруг. Увидел сразу груды рисунков моих. И спросил, для порядка:
- Твои?
 - Да.
 - Хочу посмотреть.
 - Смотри.
- Зверев долго смотрел рисунки.
- И сказал:
- Послушай, Володя! Ты меня порадовал нынче. Все – твое в рисунках. Узнать их можно будет за километр.
- Я ответил:
- Спасибо, Толя!
 - Из спасибо, – сказал мне Зверев, – шубу, помни, мой друг, не сошьешь.
- И стал выбирать рисунки, один за другим, так быстро, что руки его мелькали стремительно, как у факира, выхватывая листы и складывая их в сторонке, – и вскоре образовалась изрядная стопка рисунков.
- И Зверев сказал:
- Ну, хватит.
- Я спросил:
- Зачем ты их выбрал?
- И Зверев сказал:
- Собирайся. Поедем с тобой к Стивенсонихе. Буду я там работать. А рисунки твои – берем с собой. Подарим хозяйке. Надо тебя рекламировать. Она их охотно возьмет.
- Сказал я:
- Ладно, поедem.
- Быстро собрался. Мы вышли из квартиры вдвоем. Рисунки Зверев свернул в рулон и сунул себе под мышку.
- На улице, по традиции, Зверев поймал такси.
- И с улицы Грайвороновской мы поехали в центр Москвы.
- Стивенсониха – то есть известная Нина Андреевна Стивенс – встретила нас радушно в своем, отдельном, внушительном, собственном, вопреки большому вопросу квартирному, испортившему москвичей, существующем особняке.
- Стройная, крепкая дама.
- Уверенная в себе.
- Молодящаяся – слегка.
- Хозяйка особняка.
- В Гагаринском переулке.
- Не где-нибудь на окраине, а в самом центре столицы.
- Я подумал: «Небось казачка. Есть в ней эта порода, есть!»
- Фамилия Нины Стивенс девичья была – Бондаренко.
- И родом, насколько я помню, была она из Оренбурга.

Так что была она, скорее всего, казачкой.

Вроде была она в юности пламенной комсомолкой. Но жизнь ее изменилась, когда она вышла замуж за Эдмунда Стивенса, крупного журналиста американского, поселившегося в Москве на долгие годы, вместе с русской своей женой. И стала она со временем проявлять интерес немалый, постепенно все возрастающий, к творчеству наших художников, авангардных, подпольных, так можно сказать об этой странноватой и колоритной, притягательной, пестрой братии, независимой, бурной, пьющей, но при этом работоспособной, не имеющей никакого отношения к официозу, разрастающейся непрерывно и ряды свои пополняющей, вопреки запретам и сложностям всей советской тогдашней жизни. И стала она общаться и даже дружить вот с этими художниками. И стала работы их покупать. И даже стала она работы их выставлять – не в Союзе, а за границей. И ее особняк стал известным местом встреч и сборищ богемных. И сама она тоже стала одной из самых известных в нашей древней столице дам. И к ней, хозяйке чудесного московского особняка, жене журналиста Стивенса, собирательнице авангардной живописи и графики, статной, прекрасно одетой, с манерами аристократки, вышедшей из простых, рядовых советских людей и поэтому демократичной со всеми, порой по-простецки, но со значением, знай, мол, наших, помни об этом, ведущей себя с гостями, приехали мы со Зверевым.

- Здравствуй, Толя! – сказала приветливо Нина Стивенс. – Ну вот и встретились наконец! Я рада тебе.
- Зверев ей представил меня:
- Познакомься. Это Володя Алейников. Друг мой хороший. Гениальный русский поэт.
- Нина Стивенс – приветливо – мне:
- Я знаю о вас. И даже читала ваши стихи. Рада видеть вас у себя.
- Я – в ответ – ей:
- Что ж, я тоже рад.
- Нина Стивенс, широким жестом:
- Проходите в дом, проходите!
- Мы зашли в особняк. Оказались в светлой, чистой, просторной комнате.
- Нина Стивенс спросила Зверева:
- Толя, что у тебя за рулон?
- Зверев:
- Это рисунки Володины. Он поэт, и все это знают. Но еще и хороший художник. Даже очень хороший, поверь.
- Нина Стивенс:
- Как интересно!
- Зверев – ей:
- Вот рисунки. Бери.
- Нина Стивенс:
- Я посмотрю?
- Зверев – ей:
- Посмотри, конечно!
- Нина Стивенс тут же, немедленно, посмотрела рисунки. Сказала:
- Да, рисунки очень хорошие.
- Зверев:
- Это тебе. В подарок.
- Нина Стивенс:
- Правда? Спасибо!
- Зверев – ей:
- Пусть рисунки будут у тебя. Они тебе, знаю, пригодятся еще, потом.

- Нина Стивенс – мне:
- Значит, это в самом деле подарок? Ваш? Так, Володя?
- И я сказал ей:
- Ну конечно, подарок. Берите!
- Нина Стивенс:
- Благодарю!
- И взяла рулон. Унесла его, просияв, улыбаясь, куда-то.
- Мы со Зверевым закурили.
- Хорошо здесь. Просторно, тепло.
- Нина Стивенс вернулась:
- Толя! Будешь ты рисовать сегодня?
- Зверев:
- Буду. Ведь я обещал.
- Нина Стивенс – ему:
- Смотри!
- И широким, свободным жестом показала на стол, где лежали коробки, большие, пестрые, с заграничной, такой и не сыщешь днем с огнем у нас, акварелью, и, на выбор, кисти различные, заграничные тоже, и плотная, самых лучших сортов, бумага.
- Нина Стивенс – Звереву:
- Толя, это все – для тебя. Для работы.
- Почему-то Зверев поморщился. И насупился. Помрачнел.
- Я взглянул на него удивленно.
- Не вошла, а впорхнула в комнату нарядная девочка, маленькая, веселая:
- Здравствуйте, дяди!
- Мы ответили, вместе:
- Здравствуй!
- Нина Стивенс – Звереву:
- Толя, вот ее будешь ты рисовать!
- Зверев:
- Нечем ее рисовать!
- Нина Стивенс:
- Как это – нечем? Акварель, и бумага, и кисти – на столе! Это все – для тебя!
- Зверев:
- Нет, мне нужна другая акварель.
- Нина Стивенс:
- Какая?
- Зверев:
- Мне нужна акварель – моя. Та, которой привык я работать. Та, простая, твердая. Школьная. Та, дешевая акварель.
- Нина Стивенс:
- Но где ее взять?
- Зверев – ей:
- Акварель мы найдем! Где найдем? В магазине. Ближайшем.
- Нина Стивенс:
- Чудишь ты, Толя!
- Зверев:
- Нет! Чудить и не думаю. Мне нужна моя акварель. Не какая-нибудь, а моя. Та, которую я люблю. Понимаешь? Моя, родная.
- Нина Стивенс:
- Ох, Толя, Толя!
- Зверев – мне:

- Володя, пойдем! Акварель мою – мы найдем!
Я сказал:
- Если надо – пойдем.
Зверев:
- Нина, мы скоро вернемся!
И – стремительно ринулся к выходу.
И пришлось мне идти за ним.
На улице Зверев быстро огляделся. Сказал:
- Туда! Там, я помню, есть магазинчик. Называется – канцтовары. Там найдем акварель мою.
Мы прибавили ходу. И вскоре оказались уже в магазине.
И действительно, там продавалась необходимая Звереву школьная акварель.
Зверев бросился к продавщице:
- Три коробки – вот этой, школьной, акварели. Да поскорей!
Продавщица сказала:
- Пожалуйста!
Зверев мелочь извлек из кармана. Заплатил ей – за акварель. Сунул все три коробки в карман. И воскликнул:
- Вперед, Володя!
- Мы вернулись с покупкой обратно в особняк Нины Стивенс, отдельно от окрестных построек стоящий, независимо и спокойно, словно всем своим видом, особенным, не советским совсем, неприступным для людей чужих, любопытных, говорящий – мол, что ему, крепкому, как орешек, и время, и власти, если вот он, стоит себе, в центре этой древней столицы, годами, нерушимо, сам по себе.
- Нина Стивенс встретила нас:
- Быстро вы. Что, нашли акварель?
Зверев – ей:
- Конечно, нашли!
Нина Стивенс:
- Будешь работать?
Зверев:
- Буду. Вперед! Бодрит!
И чудесная девочка маленькая появилась, как светлая фея, перед нами вновь, чтобы Звереву для портрета сейчас позировать.
- Зверев:
- Миска с водой нужна!
Нина Стивенс:
- Понятно. Сейчас.
Принесла глубокую миску, наполненную водой.
Поставила миску на стол.
Зверев – девочке:
- Слушай, красавица! Ты сиди – и смотри на меня. Буду я тебя рисовать.
Нина Стивенс:
- Увековечишь?
Зверев:
- Точно. Увековечу.
Он открыл сразу все три коробки с акварелью школьной. Швырнул плитки твердые красок в миску с расплескавшейся вмиг водой. Размешал эти плитки, растер, словно кашу готовил, в миске. Разноцветной стала вода.
Он смахнул со стола все кисти – кроме самой широкой, одной, и проверил ее на прочность, и зажал ее в кулаке.

Он убрал со стола коробки с заграничной, ненужной ему, пусть и качественной, но чужой, не родной совсем акварелью.

Он сбросил на пол бумагу, приготовленную для работы.

И оставил – один-единственный, приглянувшийся почему-то, лист бумаги, пока еще – белый, не заполненный красками, чистый.

Он взгляделся в девочку-фею.

И сказал ей властно:

– Сидеть!

И ответила девочка:

– Да.

И тогда – Зверев начал работать.

Все мелькало, кружилось, падало и взлетало в его руках – акварель, и кисть, и бумага, и расплеснутая вода.

Он из миски цепко выхватывал размягченные плитки школьной акварели – и тыкал ими, резко, точно, быстро, – в бумагу.

Он размахивал кистью широкой – и водил ею, тоже быстро, и прицельно, и артистично, по листу бумаги, который, под неслыханным натиском зверевским, начинал уже оживать.

Он был весь – в синкопическом, джазовом, так сказать мне хочется, ритме.

Он работал. Был весь – в работе.

Он – портрет создавал. Творил.

Наконец он шумно вздохнул.

Поглядел на работу свежую.

И сказал усталое:

– Все!..

Распрямился. И улыбнулся.

И добавил, с достоинством:

– Есть!

Подбежала девочка-фея.

Посмотрела портрет:

– Это я!

Зверев – ей:

– Ну конечно, ты!

Подошла Нина Стивенс. Взглянула на портрет:

– Толя, это шедевр.

Зверев:

– Пусть поначалу высохнет. Он еще станет лучше – потом.

Нина Стивенс:

– Ох, Толя, Толя! Ты волшебник.

Девочка:

– Правда? Он волшебник?

Я:

– Да. Это правда.

Нина Стивенс:

– Он чародей!

И сказала девочка-фея:

– Дядя Толя, сделайте чудо!

Зверев – ей:

– Ну, это я запросто!

Помахал волшебной рукой – и достал, неизвестно откуда, из-за пазухи, может, а может быть, из кармана, откуда – неважно, просто взял и достал – шоколадку.

- Протянул ее девочке:
- Вот!
 - И сказала девочка:
 - Ой! Это чудо. Люблю шоколадки.
 - Нина Стивенс:
 - Чудо – портрет.
 - Зверев:
 - Вырастет – все поймет. Без подсказок. И без шоколадок. Все поймет, я знаю.
 - Сама.
 - Нина Стивенс:
 - Надеюсь, поймет.
 - Зверев – ей:
 - Я устал, похоже.
 - Нина Стивенс:
 - Вот деньги, Толя. За портрет отличный. Держи!
 - Зверев деньги не глядя взял и засунул поглубже, за пазуху.
 - Пробурчал привычно:
 - Хорэ!
 - Нина Стивенс – обоим нам, улыбаясь:
 - Хотите выпить?
 - Я сказал ей:
 - Спасибо. Нет.
 - Зверев:
 - Нет, не хочу. Совсем.
 - Нина Стивенс:
 - Ну, как хотите.
 - Зверев – ей:
 - Мы пойдем. Бывай!
 - Нина Стивенс – нам:
 - До свидания!
 - Зверев – ей:
 - До встречи. Пока!
 - Я:
 - Всего вам самого доброго!
- И покинули мы особняк Стивенсонихин, в центре столицы горделиво стоящий, личный. Тот, в котором есть, в наше время, или, лучше сказать, безвременье, как ни странно, закономерные, потому что связаны с творчеством, всевозможные чудеса.
- Зверев – мне:
- Мы опять на воле!
 - Я ответил:
 - Пожалуй, Толя!
 - Зверев, горестно:
 - Выпить, что ли?
 - Я сказал:
 - Да лучше – не пить.
 - Зверев:
 - Правильно. Перебьемся.
 - Я:
 - Давай-ка сейчас пройдемся.
 - Зверев:
 - Свежим подышим воздухом.

- Я:
- Не знаю, как дальше мне быть.
- Зверев:
- Как это?
- Я:
- С Грайвороновской я ушел. Не хочу там больше оставаться. Уже неловко. И ключа от квартиры нет у меня. Так что снова придется мне искать сегодня ночлег.
- Зверев:
- Что-нибудь да придумаем!
- Я:
- Наверное. Дай-то Бог!..
- День вставал впереди – с загадками. Или – с тайнами. Не случайными. С чудесами. Давно привычными. С необычными – иногда. Может, будет ночлег. А может быть, и не будет. Неужто все-таки дорогим, сквозь разные сложности, станет прошлое – навсегда?..

* * *

.....

...Над Москвой – ненастное небо. Нависающее над нами всею тяжестью влажной своею, то седое совсем, то свинцовое, но дождем пролиться готовое на районы столичные хмурые, на людей, спешащих куда-то по делам или просто идущих не спеша неизвестно куда и зачем, на крыши домов, на деревья в скверах окрестных, на машины, шуршащие шинами по шоссе, на все и на всех, здесь, в огромном и грустном мире, городском, со своим укладом, со своими законами странными и понятиями старинными, то приветливом, то неприветливом или даже порой враждебном, то распахнутом всем навстречу, то закрытом от всех, глухом к надоевшим ему вопросам, заставляющим думать сразу о хорошем и о плохом, то лучшемся добротой, непривычной и непростою, то на помощь стремящемся вдруг, но всегда, неизменно, разным, деловым, бестолковым, праздным, удивляющем тем, что жив, несмотря на любые беды, на невзгоды, и все победы никогда, ни разу, не скрыв, продолжающем – быть, и в этом есть родство, на века, со светом, не случайно ведь встарь воспетым, да и нынче, хвала поэтам, нет им смысла душой кривить, и нельзя его, этот город притягательный, не любить.

- Зверев поднял глаза:
- Володя, день какой сегодня у нас?
- Я ответил ему:
- Понедельник.
 - Понедельник! – воскликнул Зверев. – Ну конечно же. Едем к Пинскому!
- Я спросил его:
- Но зачем?
 - Понимаешь, – ответил Зверев, – понедельник – особый день. В понедельник я езжу к Пинскому. Постоянно езжу. Так надо. В понедельник Пинский, запомни, каждый раз выдает мне десятку. Выдает аккуратно, всегда. За мои картинки, понятно. У него их, в его квартире, целый склад. Продает их Пинский помаленьку. И выдает мне десятки по понедельникам. Называется это – на жизнь. Или, можно сказать, – на питание. На кормежку, если попроще говорить. Благодетель такой. Для меня это – вроде игры. Проезжаю к нему в понедельник. Получаю десятку. Беседую с ним о жизни и об искусстве. Человек он весьма интересный. Пожилой. Сидел в лагерях. Образованный. Даже

очень. Филолог. Знаток Возрождения серьезный. Шекспировед. Пишет книги свои. Помогает, в меру сил своих и возможностей, он не только мне, – между прочим, Ерофееву Вене он помогает, я это знаю. Может, станет он помогать и тебе? Почему бы и нет? Почитаешь ему стихи. Он, я думаю, их поймет. И решит и тебе помогать. Раз в неделю. По понедельникам. По десятке начнет выдавать. А десятка тебе, Володя, очень даже не помешает, согласись. Поехали к Пинскому! Время дорого. Собирайся!

Я сказал тогда:

- Кто такой Леонид Ефимович Пинский, мне известно уже давно. Он дружен с Оскаром Рабиным, с лианозовцами. Сапгир мне рассказывал часто о нем. Он Бахтину помогал с изданием монографии о Рабле. Человек он смелый. За Синявского с Даниэлем заступался. Галича знал. О богеме нашей имеет, пусть и выборочно, представление. И тебе помогает, по-своему. Говорил мне Дима Борисов, что работы твои купить, по тридцать рублей за любую, при желании можно у Пинского. И поэзию он понимает, безусловно. Можно, пожалуй, познакомиться нынче с Пинским. Так и быть. Хорошо, поедем.

За минуту собрался. Накинул куртку старую. Взял свой портфель.

Мы со Зверевым вышли на улицу.

Хоть и жаждал Толя сегодня получить десятку от Пинского, но какие-то деньги были у него, как всегда, – и поэтому он рукой помахал у обочины и привычно поймал такси.

Мы вдвоем поехали к Пинскому.

И – приехали. Встретил нас пожилой человек в прихожей, невысокий, бледный, спокойный, поздоровался с нами приветливо. Пригласил к себе в кабинет. Сел за стол. Посмотрел на нас наблюдательным, цепким взглядом.

Зверев – Пинскому:

- Познакомьтесь. Это друг мой, Володя Алейников. Между прочим, не просто хороший, или даже отличный, что, в общем-то, замечательно, я не спорю, но, заметить хочу сейчас и желаю сказать вам это, гениальный русский поэт.

Пинский – мне:

- Леонид Ефимович!

Я:

- Володя!

Пинский:

- Я рад. Я давно уже знаю о вас.

Я:

- Seriously? Очень приятно.

Пинский – мне:

- Ну конечно, серьезно. И читал я ваши стихи.

Я:

- Понравились?

Пинский:

- Да.

Зверев:

- Вот и прекрасно. Хорэ!

Пинский:

- Толя, возьмите деньги!

Приоткрыл он ящик стола. В нем лежала стопка купюр. Он достал из нее десятку. Протянул ее Звереву:

- Вот!

Зверев взял десятку:

– Спасибо! По-французски будет – мерси. Мы приехали к вам на такси. По-немецки будет – а ну-ка, дайте вспомнить мне – данке шен. Кто чего-то в жизни лишен? А по-русски будет – ну как? Не забыли совсем? Благодарствую!

Пинский:

– Толя, вы пейте поменьше. Берегите себя. Питайтесь понормальнее, регулярно, каждый день. Вам ведь надо работать. А для этого силы нужны.

Зверев сунул десятку в карман. И сказал:

– Хорошо. Постараюсь.

Пинский ящик стола закрыл. Посмотрел на нас дружелюбно.

Зверев хрюкнул – и закурил.

Я тогда огляделся вокруг.

И увидел, что треть кабинета занимали работы зверевские, окантованные, под стеклом, на полу рядами стоящие.

Я спросил у Пинского:

– Можно посмотреть?

Он сказал:

– Смотрите!

Часть работ посмотрел я. И понял – были вещи там первоклассные. Удивила меня вариация портрета известного Гейнсборо – дамы с пышными, голубыми, башней поднятыми волосами, сделанная акварелью. Был еще там великолепный, выразительный автопортрет: в рубашке, пронзительно белой, с распахнутым воротом, Зверев смотрел изумленно на мир.

Зверев – мне:

– Что скажешь, Володя?

И сказал я:

– Работы сильные.

Зверев:

– То-то!

Пинский:

– Володя, почитайте свои стихи.

Я:

– Сейчас?

Пинский:

– Да, сейчас.

Зверев – мне:

– Почитай, Володя!

Я сказал:

– Хорошо, почитаю.

Зверев – рядом сидел, на стуле.

Ну а Пинский, желающий слушать стихи мои прямо сейчас, сидел напротив меня, за столом. Над его головой, на стене с обоями блеклыми, одиноко висела ранняя работа Оскара Рабина – скособоченный старый барак.

У другой стены, на полу, громоздились работы Зверева.

Пинский взглянул на меня своими немного выпученными, из-под нависших век и мохнатых бровей глядящими, усталыми, но внимательными, с огоньком интереса, глазами:

– Володя, читайте, читайте!

Я встал тогда – и почитал те, что вспомнились мне, стихи.

Читал, как всегда, глаза прикрыв, отрешившись от всех, словно в трансе. Читал – как пел.

Наконец закончил читать.

- Пинский, сразу:
– Стихи отличные!
Я:
– Спасибо. Рад, что понравились.
Пинский – мне:
– Володя, вы можете принести мне стихи, да побольше, на машинке перепечатанные?
Я:
– Попробую. Нет машинки, к сожалению, у меня. Но какой-нибудь сборник мой самиздатовский, я надеюсь, у знакомых моих найдется. Там, где я бумаги свои на хранение оставлял.
Пинский – мне:
– У вас нет жилья?
Я:
– Бездомничаю. Так вышло. Ничего. Я уже привык.
Пинский:
– Так... Стихи – приносите. Я попробую вам помочь с публикацией. Может, получится. Обещать ничего не стану. Потому что не так это просто. Но надеяться – можно всегда. А сейчас – подождите-ка. Вот...
Отодвинул он ящик стола.
И достал оттуда – десятку.
Протянул мне:
– Возьмите, Володя. Пригодится это, на жизнь. Приходите ко мне иногда. Буду вам помогать деньгами. Понемногу. Ну а стихи – приносите, да поскорей.
Взял десятку тогда я:
– Спасибо.
Пинский:
– Не за что. Приходите.
Зверев:
– Ну, Леонид Ефимович, мы пойдем!
Пинский:
– Что, пора?
Зверев:
– Именно. Нам пора!
Пинский:
– Что же, пора так пора. Навещайте меня. Буду рад.
Попрощались мы с Пинским. И вышли из квартиры тихой – на улицу.
Зверев – мне:
– Вот видишь, Володя, будет Пинский тебе помогать. Как и мне. И десятка тебе очень даже не помешает. Это все-таки деньги. На них можно выпить и закусить. Или несколько раз поесть, где-нибудь, в обычной столовой. А стихи – разыщи ты. И Пинскому принеси их как можно скорее. Вдруг поможет их напечатать? У него ведь большие связи. Уважают его везде. Человек он, в общем-то, добрый. Навидался всякого в жизни. Но сумел уцелеть. Ученый он серьезный, это уж точно. Помогает людям талантливым выживать в наше трудное время. Так что – честь ему и хвала!
Мы потом куда-то поехали. Где-то были. В каком-то доме. У кого? И зачем? Кто знает! Все равно. Разве вспомнишь теперь!
Столько было визитов этих непредвиденных, безоглядных, и ночных посиделок долгих, и надежд, и частых потерь!
Все в тумане былого скрыто.
Это нитками белыми шито.

Может, где-то была защита.
 Ну а где-то был и ночлег.
 Вспоминать все подряд – не надо.
 Хорошо, что были нам рады.
 Иногда. Но и в том – отрада.
 Свет маячный. Желанный берег.

...Раза два приезжал я к Пинскому. Он вручал мне тогда – десятку. Говорил со мною – о жизни, о поэзии. Был со мной неизменно приветлив, добр. И светились в его глазах – и внимание, и понимание. И звучали в его словах – и сочувствие, и участие. И таким я запомнил его.

Я привез ему сборник стихов, самиздатовский, машинописный.

Пинский взял его. Полистал. И сказал мне:

– Буду читать. Покажу стихи кое-кому. И посмотрим потом, что выйдет.
 И прошел, наверное, месяц.

Позвонил я Пинскому. Он мне сказал:

– Приезжайте, Володя!

И тогда я приехал к нему.

Пинский сборник мой самиздатовский из стола достал. И сказал:

– Ничего не выходит, Володя! Я пытался помочь, но – увы... Не хотят они вас издавать. Вам, надеюсь, ясно сейчас, что «они» – это те, наверху. Те, которые ныне у власти. В том числе и в среде писательской. Почему – непонятно. Хотя догадаться можно, пожалуй. Из-за СМОГа в первую очередь. Из-за ваших, пусть и не частых, публикаций стихов за границей. В зарубежных разных изданиях. Из-за вашей, такой очевидной, непохожести на советских стихотворцев. Из-за того, что поэт вы очень серьезный, настоящий. Из-за того, что не станете вы идти на какие-то компромиссы. А уж в этом, поверьте, я ни секунды не сомневаюсь. Так что время для публикаций ваших, здесь, в отечестве нашем, как ни грустно мне говорить вам об этом, еще не пришло. И поэтому надо ждать просветления, там, в грядущем, в жизни общества и в политике. И тогда, я уверен, будут вас на родине издавать. Вы работайте, вы пишите. И – мужайтесь. Вам надо выстоять. Все равно вы уже состоялись как поэт, и довольно давно. Все равно вы такой, как есть. В самиздате вас любят и знают. И поклонников много у вас. Так что вы – уже победили. А невзгоды вас не сломают ни за что. Вас они закалят. Жизнь сурова, что тут поделаешь. Но зато ведь и хороша. Вы об этом прекрасно знаете. И когда-нибудь все у вас наилучшим образом сложится. И спасет вас именно творчество. И никто вас не остановит, не заставит идти на попятную. Все равно вы вперед идете. А куда же еще вам идти? Вы – поэт, и все этим сказано. Все равно – вы на верном пути!..

Взял я сборник свой самиздатовский.

И сказал:

– Да, я все понимаю хорошо. Я пойду. Мне пора.

Пинский – мне:

– Но возьмите деньги! Пригодятся. Еще приходите. Буду вам и впредь помогать.

Я сказал:

– Нет, денег не надо!

И простился с Пинским. И вышел, из квартиры тихой, в пространство. Там я был – на верном пути.

Не в моих это правилах – быть от кого-то зависимым, нет. И навязываться ни к кому, никогда, ни за что, я не стану.

Как живу я, так и живу.
 Никого ни о чем не прошу. Я такой, какой есть. Алейников.
 Независимый человек.
 Что важно для меня? Свобода.
 Был всегда я – сам по себе.
 И таким – навсегда останусь.
 Неизменно – самим собою.
 Налетевший внезапно ветер прошумел вдоль улицы. Небо помрачнело, потом – посветлело. Стало близким, ясным, высоким. Облака исчезли куда-то. Различил я звезду над собой.
 Значит, в путь! Все дальше и дальше.
 Надо выстоять. Надо держаться.
 Несмотря ни на что. Упрямо.
 И дано мне это – судьбой...

* * *

.....
 ...В семьдесят пятом году.

В теплую пору, когда людей столичных, изрядно стосковавшихся, в месяцы прежние, по солнцу, доброму, щедрому, радовала природа свободным своим цветением и зеленью новой своей в окрестных парках и скверах, и люди, на солнышке щурясь, незаметно, неудержимо, становились и сами светлее, и легче им было дышать, и птицы повсюду пели о том, что выжить сумели, о том, что спеть не успели, но могут все наверстать сейчас, и ветер веселый, хмельной, летал над столицей, и все, что встарь небылицей казалось, легко и просто уже превращалось в новь, и явь становилась былью, и всех чудес избылье, как свет, проникало в кровь.

Наверное, в самом конце бурной этой весны.
 Или в самом начале желанного для всех нас нового лета.
 Позвонил мне однажды Зверев.
 Как нашел меня? Как всегда.
 По чутью своему, звериному.
 – Але! Это я. Привет! Приглашаю тебя на обед.
 – Куда?
 – К одному писателю. Советскому. Это так, для справки. Но человек он, так я думаю, вроде хороший. Собирает мои картинки. Покупает их иногда. Я решил, что тебе как следует надо поесть. Да и мне тоже не помешает. Повидаемся снова. А то мы давненько с тобой не виделись. Придешь?
 – Хорошо, приду.
 – Тогда записывай адрес.
 И Зверев продиктовал мне этот писательский адрес.
 Я спросил его:
 – Толя, скажи мне, можно с дамой туда прийти?
 Зверев хмыкнул:
 – Что, дама голодная? Как и ты?
 Я сказал:
 – Конечно. А еще – ей будет приятно познакомиться там с тобой.
 Зверев хрюкнул:
 – Да пусть приходит. Можно, раз уж она – с тобой. А еды там хватит на всех. Жду обоих вас. Ну, до встречи!
 В нужный день, в нужный час я приехал вместе с дамой к писателю этому, не припомню, как звали его, но, как Зверев сказал, советскому.

Разыскали мы, пусть и с трудом, на окраине, блочный дом. Перед ним – пустырь. А подальше – симпатичный, густой лесок.

Поднялись на нужный этаж. Позвонили несколько раз.

Дверь открыл нам – советский писатель.

Невысокий. Почти невзрачный. Но – приветливый. И веселый.

– Заходите, друзья, заходите!

Мы зашли в небольшую квартиру. Двухкомнатную. А может, и трехкомнатную. Но – компактную. С невысокими потолками. Как и сам советский писатель.

Навстречу нам ринулся Зверев:

– Приехали? Ну, хорэ!

Я сказал:

– Добрались. Нашли.

Зверев, щуря пристально глаз:

– Это дама твоя?

– Как видишь!

Зверев, глядя в упор:

– Хороша!

Дама в самом деле была не хорошенькой, а красивой. Стройная, словно воздушная. Длинные темные волосы. Не голубые, а синие, магнетически притягательные, искрящиеся глаза. Легкое платьице ситцевое казалось на ней нарядом загадочной сказочной феи. Да и тайна в даме была. Но еще и тяга к мистичности. Это было модным тогда, в середине семидесятых. Но мистичность в даме не просто увлечением модным была, а ее сокровенной сутью. Позже я убедился в этом. А пока что я принимал всю ее, со всеми загадками, недомолвками, откровениями неожиданными, туманными, иногда, но чаще – пронзительно, удивительно ясными, с явной ирреальностью, но и действительно, как ни странно, вполне реальными, не случайными вовсе, но к месту возникавшими, точными, вовремя изрекаемыми, с улыбкой, ироничной или блаженной, с вырывающимся в пространство грозным или довольно мирным, обостренно чутким ко всем переменам в мире, живучим, жгучим пламенем синих глаз, то прикрытых слегка, то вдруг широко и смело открытых, прямо в жизнь, и куда-то дальше, за какую-то грань, куда лишь одна она была вхожа постоянно, – такой, как есть.

Держалась она спокойно, с достоинством, без кривляний. Цену себе она знала. И в богеме – знали ее.

Дама сказала Звереву:

– Познакомиться с вами я рада!

Зверев молча кивнул головой.

В квартире была – чистота. В квартире был – полный порядок. Пол был натерт до какого-то астрального, что ли, блеска.

На стенах, в хороших рамах, висели работы зверевские.

В основном пейзажи. Добротная, сильная живопись, маслом.

Но были там, разумеется, и портреты. Как же – без них?

Один из пейзажей – лес – был сверху, прямо по живописи, усыпан пожухшей хвоей – иголками, сохранившими упругость свою, сосновыми.

Я спросил у Зверева:

– Толя, объясни мне, а это – зачем?

Он ответил:

– Я рисовал, я старался. И вдруг захотелось, чтобы в этой моей работе появились частички леса, настоящего. И тогда я отправил хозяина – в лес. Тот, который там, за окном. Вот он, видно его. За хвоей. И принес мой заказчик иголки сосновые, целую пригоршню. И я, с превеликой охотой, усыпал ими

работу, прямо по свежей живописи. И они здесь легко прижились. Что ты скажешь? Хороший ход?

Я сказал:

– Ход – именно зверевский.

Зверев:

– Стал мой пейзаж, отличный, подчеркну, на ежа похож.

Пока мы смотрели работы, хлопотал писатель на кухне. Что-то он жарил, варил. Доносились оттуда в комнату возбуждающие аппетит ароматные, тонкие запахи.

Потом писатель из кухни приносил различные блюда – и ставил их, как заправский повар, быстро и ловко, в той комнате, где втроем находились мы, на просторный, застеленный свежей скатертью, заполняемый снедью стол.

Наконец писатель сказал:

– Все готово. Прошу к столу!

И уселись мы все за стол.

И трапеза – началась.

Были тосты. Писатель их говорил – со знанием дела.

Словно в Грузии где-то мы пировали, а не в Москве.

Был писатель таким хлебосольным! Угощал нас всех – от души.

– Ешьте, пейте, друзья!

И мы с удовольствием ели и пили.

А потом – начались разговоры.

И писатель спросил меня:

– Что, Володя, вас не печатают?

Я ответил:

– Нет, не печатают.

– Как же так? – воскликнул писатель с показным, излишне бравурным, огорчением. – Я читал ведь, в самиздате, ваши стихи! Ничего в них крамольного нет. Никакой нет антисоветчины. Есть – поэзия. Почему же не печатают? Непонятно.

Я сказал ему:

– Нет, понятно.

– Что? Скажите!

– Да все очень просто. Непохож ведь я на других.

– Вот и правильно, что непохож. Лично я приветствую это.

– Непохож потому, что я не советский, а русский поэт.

– Понимаю, – сказал писатель, – не советский, а русский. Здесь возразить действительно нечего. Сразу все становится ясно. Трудно будет вам. Вы еще молоды. Вы готовы, скажите, к трудностям?

Я ответил:

– Да, я готов.

Зверев:

– Трудности мы одолеем.

Дама:

– Главное – живы стихи.

Зверев:

– Живы. И все мы – живы.

Дама:

– Будет писать Володя с каждым годом все лучше и лучше. Он читал недавно стихи у знакомых своих. Я слушала их внимательно – и заплакала. И тогда поняла я: это – непрерывное, неудержимое и по сути своей могучее, со вселенскими ритмами связанное неразрывно духовными нитями, сквозь

пространство и время, вдаль и вперед, напрямик в грядущее, возрастающее движение животворной и светлой речи.

Зверев:

- Дама твоя, Володя, разбирается, вижу, в поэзии. Интересно – что она скажет о моих картинках сейчас?

Дама:

- Толя, твои работы достоянием станут вскоре государственным. А потом, не пройдет и полсотни лет, даже меньше, в Москве откроется, вижу это я, твой музей.

Зверев:

- Надо же! Мой музей!

Дама:

- Да!

Зверев:

- Ты провидица?

Дама:

- Можешь и так считать.

И писатель – тост произнес.

За победу русской поэзии.

За победу искусства русского.

За победу моих стихов.

За победу зверевской – всей – живописи и графики.

И пришлось нам за это – выпить.

Был обед – отменным, вкуснейшим. Да, писатель – умел готовить. И доволен был тем, что его кулинарное, высшего класса, категории высшей, искусство оценили мы все высоко.

Сразу столько слов о высоком прозвучало в квартире этой, с невысокими потолками, в честь хозяина, гостеприимного, невысокого роста, приятного и приветливого человека, и писателя, пусть и советского, принимавшего нас у себя!

И ему – это было приятно. Раскраснелся он весь – и стал говорливее, стал вести себя все свободнее и свободнее.

Зверев что-то рассказывал нам, увлеченно и артистично. В роль вошел он, изображал персонажей, тех, о которых говорил, иногда гримасничал, делал жесты руками, гибкими и подвижными, хохотал, то и дело стихи читал, и свои, и чужие, но в основном, конечно, свои, привставал со стула, ходил, то вперед, то назад, по комнате, иногда совершал круги, и, вполне возможно, магические, и обратно за стол присаживался, словом, был художник в ударе.

Синеглазая дама изрядно захмелела – и вдруг ему, ни с того ни с сего, похоже, огорошив его, сказала:

- Тебя никогда не били!

Зверев так побледнел, что лицо его стало вмиг совершенно белым.

Он взглянул на даму горящими так, что боль в них пылала, глазами:

- Это меня не били?

И схватил он стакан с вином – и с размаху плеснул вином в лицо синеглазой даме.

Дама вскрикнула – и зарыдала.

И вскочила из-за стола.

И бросилась – вон из квартиры.

И за нею хлопнула дверь.

Зверев поднял взгляд на меня и сказал:

- Ты ее догони. И верни сюда, непременно.

Я выбежал из квартиры. И увидел возле подъезда синеглазую даму, плачущую от обиды и потрясения.

И сказал ей:

– Напрасно ты глупость такую брякнула! Это Зверева, что ли, не били? Ты представить себе не можешь, сколько раз его избивали. Он весь изломан, запомни. Хорошо, что живучий. Чудом оставался он часто жив.

Дама, всхлипывая, сказала:

– Ничего я не знала об этом поначалу. Потом – увидела все, что было с ним в прежнее время – и увидела сразу, внезапно, все, что будет с ним впереди. Ну а там такое, что лучше мне об этом не говорить. И решила я Толю тогда подколоть, так, слегка, немного. Пошутить, грубовато, знаю, чтобы этим его защитить. Неудачно все получилось. Зверев смысл моей фразы не понял. Но чутье у него звериное, это сразу стало мне ясно. И о чем-то он догадался. Потому и плеснул вином – не в меня, а в то, что почуял за словами моими резкими. Может, надо мне было все же промолчать тогда? Нет, не надо. Лучше было – сказать. И я все сказала ему, напрямую. Признаю, получилось жестоко. И теперь я, конечно, раскаиваюсь. Но – не полностью. Потому что я должна была это сказать. И еще я чувствую – Зверев начинает все понимать.

Я сказал:

– Пойдем-ка обратно. Успокойся. Нас ждут. Пойдем.

И вернулись мы с ней в писательскую, с хлебосольным застольем, квартиру.

Дама, сразу:

– Прости меня, Толя!

Зверев:

– Ладно уж. Бог простит.

И наполнил вином стаканы.

И сказал, обращаясь к даме благодушно:

– Старушка, выпьем! Успокойся, да поскорее. Не сержусь я уже нисколько на тебя. Ну, за дружбу! Мир!

И просиявшая дама выпила вместе со Зверевым.

И мы с писателем – выпили.

Зверев – тихо и грустно – даме:

– Почему ты это сказала – что меня никогда не били?

Дама:

– Честно?

Зверев:

– Конечно.

Дама:

– Видела я, что тебе предстоят испытания в будущем – и похлеще всех предыдущих. Будут бить тебя, к сожалению. И сильнее, чем раньше били. Потому-то я и сказала, что тебя никогда не били. Но куда страшнее побоев – и душевные муки твои, и житейские сложности разные, что изматывают тебя, не дают покоя тебе никогда, ни ночью, ни днем. И спасением станет любовь для тебя, запомни – любовь. За нее ты крепче держись. И тогда еще поживешь. И в искусстве многое сделаешь.

И задумался Зверев о чем-то. К даме вдруг обратился:

– Послушай! Неужели ты все же провидица? Ну откуда ты знаешь, что будет, через сколько-то лет, да не где-нибудь, а в Москве у нас, мой музей?

Дама:

– Толя, поверь, так бывает – часто вижу я все наперед.

Зверев:

- Надо же! Значит – бывает!..
Дама:
– Да.
Зверев:
– Ясно. Хорэ!
И писатель сказал:
– Ура! А теперь – давайте-ка выпьем!
И воскликнул Зверев:
– Давайте! Ну, хозяин, скорей наливай!
И застолье наше продолжилось.
И пришел незаметно вечер.
И настала пора покидать нам троим – квартиру писательскую.
Попрощались тогда мы с хозяином.
И на улицу вышли, втроем.
Зверев, я и притихшая дама.
Загорались окна в домах. И стеною темной казался тот лесок, в котором писатель собирал иголки сосновые, для пейзажа свежего зверевского.
Толя – мне:
– Вы теперь куда?
Я:
– Пока что и сам не знаю.
Дама:
– Что? Мы поедem ко мне.
Зверев – нам:
– Я вас довезу.
Помахал рукой на обочине.
Остановил такси.
Пригласил нас:
– Ну, залезайте!
И поехали мы, втроем, на такси, в сердцевину теплого, в огоньках, повсюду мерцающих, разгорающихся, под звездами в ясном небе, столичного вечера.
И довез нас, меня и даму синеглазую, Зверев до места.
И сказала Звереву дама:
– Толя, ты уж прости меня!
И ответил ей Зверев:
– Забудь!
Я сказал:
– Что ж, до встречи, Толя!
Зверев – мне:
– Постой. Погоди.
Из-за пазухи вынул бутылку коньяка. Протянул ее мне:
– Пригодится еще. Держи.
Взял бутылку я:
– Вот спасибо! Просто чудо! А как же – ты?
Зверев – мне, улыбнувшись лукаво:
– У меня есть еще две бутылки!
И потряс полый пиджака. Там действительно что-то булькнуло, мелодично, тихонько звякнуло.
Я:
– Понятно. Тогда – все в порядке.
Зверев – даме:
– А это – тебе!

И достал из-за пазухи две шоколадки, лимон, апельсин и большое румяное яблоко.

Протянул это даме:

– Держи!

Дама:

– Толечка, вот спасибо!

Зверев – ей:

– Старушка, держись! Будь поласковее с Володей.

Дама – Звереву:

– Постараюсь!

Я достал из портфеля свой сборник самиздатовский:

– Толя, дарю!

Зверев:

– Это серьезный подарок. Не коньяк, не лимон, а стихи. Подпиши-ка мне сборник свой.

Я спросил:

– А чем подписать? Ручки нет у меня. Потерялась.

Зверев:

– Ручка всегда найдется. Или, может быть, карандаш.

Он порылся в карманах. Достал карандаш оттуда:

– Держи!

Сборник свой я ему подписал.

– Вот, готово. И ты держи. Карандаш свой возьми, пригодится.

Зверев сунул сборник за пазуху. Карандаш – положил в карман.

Я сказал ему:

– Почитай ты стихи мои, на досуге.

Зверев:

– Будет в жизни досуг. В перерывах, после работы. И поэтому не сомневайся – почитаю твои стихи. Потому что мне они нравятся. А верней – они мне по душе. И плевать, что тебя не печатают. Напечатают, будь уверен. Все, до строчки, потом напечатают. Наше время – там, впереди. Там, в грядущем, высоким слогом говоря, мы с тобой когда-нибудь встретимся. Ты – стихами, а я – картинками. Это будет именно так. А пока что – пускай стихи твои не печатают оглоеды и тупицы советские всякие. И картинки мои пускай гады всякие не выставляют. Ни следа от них не останется, от тупиц, оглоедов и гадов. Даже мокрого места и то не останется. Так, пустота. Ну а мы с тобой – победим.

Я сказал:

– Да, мы – победим.

Синеглазая дама слушала наши речи – и вдруг заплакала.

Я спросил ее:

– Что с тобой?

Дама:

– Ах, вы такие хорошие, оба! Жаль мне вас почему-то. Но и я понимаю: вы оба обязательно победите.

Зверев:

– Слушай, Володя, пророчицу. Значит, видит все наперед.

Шофер – из машины:

– Кто-нибудь поедет дальше? Я жду. Ну а счетчик, понятно, крутится. Так что вы поскорей решайте – кто поедет, а кто остается.

Зверев:

– Надо мне ехать. Дела у меня. Мы еще увидимся.

И уехал он. На такси.
По делам. По своим, по зверевским.
Дел немало ведь у художника.
Даже вечером. Да и ночью.
Мы остались вдвоем. И дама мне сказала:
– Какой он славный, этот Зверев! И одинокий..
И покрепче взяла меня под руку.
И глаза ее синие вспыхнули благодарным, горячим огнем.
В небе звезд было вдосталь. И вечер был на редкость теплым. И нынче кто же
вспомнит и кто нам скажет, что таилось когда-то в нем?..

* * *

.....
...Память – не просто загадочна.
Память – сплошная тайна.
Память – хранилище странное всего, что бывало в прошлом, что в жизни
моей, такой уж, как есть, как она сложилась, когда-то происходило.
И что-то – порой забывалось, как будто вдали скрывалось.
А что-то – как-то внезапно, само ко мне приходило.
Само ко мне возвращалось.
И, значит, со мной не прощалось.
Просто ждало – когда же вернется оно ко мне.
И – оживало снова.
И слышал я каждое слово.
Из лет, встающих из мрака, воскресших в ночном огне.
И видел тогда я – многое.
И прошлое было – рядом.
И здесь, в настоящем, сызнова становилось оно родным.
В отборе событий – строгое.
Но – щедрое. С певчим ладом.
И, значит, живое, личное, – быть не могло иным.
Да, выжившее упрямо.
Сквозь все прошедшее драмы.
Сквозь все трагедии. Вырвавшись, из сонма невзгод, вперед.
К желанному свету. К людям.
Сюда, где мы есть – и будем.
Туда, где в грядущем встретимся. Где кто-то зовет и ждет.
И, стало быть, продолжается движение неумное.
Наверное, по спирали.
Конечно, и вглубь, и ввысь.
И – вдаль. Ну, само собою.
Поскольку дано – судьбою.
Как дар или мир – огромною.
И – звезды над ней зажглись.

Так что же мне рассказать?
Как нити опять связать?
Незримые нити. Прочные.
Пусть что-то само придет.
Ведь встречи привычно ждет.
В словах и деталях – точное.
Возникнет призывный звук.

Расширится речи круг.
Услышу – музыку чистую.
Увижу – заветный знак.
Смелее – и только так!
Скажу – и, как прежде, выстою.

Вспоминаю семидесятые, на события разные щедрые, на любые драмы богатые, для меня – все равно крылатые, как и прежние годы, поскольку, несмотря на всякие сложности, я работал много тогда и спасался этим всегда.

Вспоминаю семидесятые, с их скитаниями постоянными, с их тревогами окаянными, с их сражениями неизбежными с оголтелыми силами зла, словно были это не мирные, а военные годы, когда приходилось все время держаться, не сдаваться, упрямо выстаивать, вопреки обстоятельствам трудным, быть всегда начеку, в строю, оставаться самим собою, принимать все как есть, с достоинством неизменным, идти упорно, сквозь невзгоды, туда, где виден впереди был волшебный свет.

Вспоминаю семидесятые, с их невысказанной протяженностью и во времени, и в пространстве, потому что столь много в них умещалось тогда историй, приключений невероятных, огорчений, сомнений, долгих, одиноких, глухих ночей, дней голодных и зим холодных, летних улиц с жарой палящей, смутным ветром вблизи пылящей, затихающим там, вдали, где осенние зрели зерна, где опомниться не зазорно, как терзать меня ни могли расставания с тем, что было драгоценным, что впрямь томило, угнетало порой, но вновь, побеждая в борьбе суровой с прежним горем, с весной новой наконец-то ждала любовь, и тогда жизнь казалась раем, но за гранью, за рваным краем яви, вновь проливалась кровь, и опять, посреди страданий, приносивших за вестью весть, озарений и ожиданий было столько, что их не счесть.

Вспоминаю Оксану Михайловну Синякову-Асееву, зверевскую небывалую, фантастическую и неистовую любовь.

Мы однажды приехали к ней.

С нами был еще и «трубач», так вот Зверев его называл, музыкант, довольно известный в мире джаза, Герман Лукьянов, оказалось – сын Музы Павловой, поэтессы и переводчицы, рослый, странный, меланхоличный человек, и его подружка, почему-то в корсете, высокая и одетая странновато, по давнишней вроде бы моде, из двадцатых или тридцатых, довоенных, совсем далеких от теперешней жизни, годов.

Приняла нас Оксана Михайловна как всегда приветливо. Стала угощать нас чаем с вареньем и беседовать с нами. О чем? Да почти ни о чем. По-светски. Шебетала – совсем по-птичь. Словно Хлебников сочинил эти звонкие речи ее.

Зверев чай из чашки фарфоровой пил – и слушал ее задумчиво. И – помалкивал больше. Лишь изредка говорил что-нибудь простое.

Но зато Лукьянов – охотно говорил. Непрерывно, много.

И вдобавок сказал, что он, музыкант, – тоже пишет стихи.

И немедленно их прочитал.

Были в них – эпохальные строки:

«Нервы, нервы, стервы, стервы».

Как-то нам неуютно стало.

И смутилась Оксана Михайловна.

И напрягся, набычился Зверев.

И вздохнул я: ну что за дела!

Но зато подруга Лукьянова горделиво на всех поглядела – вот, мол, знаете, какие бывают современные суперстихи!

Почему-то представил тогда я, что Лукьянова нет здесь, с подругой, со стихами его модернистскими, лаконичными, «нервами-стервами», нет, и все тут, и вот что вдруг, вы представьте, произошло, – он исчез куда-то, немедленно, вместе с модной подругой, пропал, вместе с «нервами-стервами», где-то, ну а где – да кто его знает, растворился в столичном воздухе, чтоб в квартире своей оказаться, где ждала его снова труба, или, может, корнет, словом, нужный инструмент, на котором он станет с удовольствием вскоре играть.

(И действительно, шел я однажды, ранним утром, к знакомым своим, в том районе, где жил Лукьянов, – и услышал, как он играет, на трубе или на корнете, и увидел его, стоявшего на балконе, меланхоличного, отрешенного, в тишине, растревоженной резкими звуками беспокойной мелодии джазовой, видно, в дружбе с «нервами-стервами», но усвоенной им вполне...)

Вспоминаю семидесятые.
Словно пламенем вдруг объятые.
Их героев. С ума палатую.
Или с удалю. Речи их.
Лица – в шумной толпе предпраздничной.
В толкотне бесконечной, будничной.
Их глаза – вопрошенье вечное.
Их – чужих. И – почти родных.

Ну куда же теперь – без этого?
Столько прожитого и спетого!
Ну а может быть – недопетого?
Наверстаем ли? Как сказать!
Сохраним. Вопреки забвению.
Не стоять на месте – мгновению.
Длиться – вешнему вдохновению.
Значит, выстоять. И – дерзать.

...И снова мы навестили однажды, вдвоем со Зверевым, Оксану Михайловну. Вечер был на редкость хорошим тогда.

Была Оксана Михайловна прекрасна. Глаза сияли. Казалась она мне сказкой. Волшебница? Нет. Звезда.

«И все они были красивы», – сказал когда-то о сестрах Синяковых их друг Велимир.

Но в Оксане Михайловне все же было что-то больше обычной красоты. В ней была и тайна.

И Зверев – чувствовал это.
Хребтом своим – понимал.
Потому ее и любил.
Потому-то к ней и тянулся.
Потому-то ее непрерывно рисовал. Он ее – воспевал.
Он ее – создавал. Молодую делал вновь. Он видел ее – не подвластной времени. Вечной. Не стареющей никогда.
Самой близкой. Самой родною.
Кем? Подругой? Или женою?
Всем на свете. Почти святою.
Даром свыше – сквозь все года.

И сотни сделанных Зверевым портретов Оксаны Михайловны остались – песнью художника о верности и любви.

Остались. Живут. И жизнь их продолжится и в грядущем. Примером союза прочного – уж как его ни зови.

Портреты. Прозрений зверевских свидетельства несомненные.

Портреты. Терзаний зверевских признания откровенные.

Портреты. Символы. Знаки. Образы – сквозь века.

Сказочные. И – реальные. Не взятые с потолка.

Портреты. Воображение – средь будней. Плоды труда.

Портреты. Преображение былого. И – навсегда.

Портреты. В ночи – сияние. В судьбе – поворот и взлет.

Блаженное состояние. А счастье – авось придет.

Портреты. Души метания – в бесчасье, где жизнь трудна.

Бессмертия очертания – сквозь явь. На все времена.

...Оксана Михайловна слушала стихи мои – и глаза ее становились влажными, светлыми, лучистыми и прозрачными, озерными, как сказал бы об этом друг ее, Хлебников.

И лицо ее преображалось, молодело. Морщинки вдруг исчезали куда-то. Губы шевелились слегка. И волосы над закинутой головой золотистой сияли короной.

Царица? Волшебница? Лада. Так ее называл Асеев, поэт и муж ее, в прошлом – азартный игрок, футурист.

А Зверев ее называл – старухой. Бубнил: «Старуха!..» А сам – любил ее. Страстно. Неистово. Так, что все вокруг кувырком летело – кастрюли, тарелки, книги асеевские, картинки, фотографии, – так, что двери выламывал сгоряча в буйстве диком своем и в ярости, в грозном гуле клокочущих чувств и желаний своих – быть рядом со старухой своей, и немедленно, быть сейчас же, надолго, вместе, опекать ее, помогать ей, говорить ей слова хорошие, воспевать ее в письмах, в стихах, рисовать ее снова и снова, обнимать ее иногда, принимать к ней, совсем по-детски, знать, что в ней лишь – его спасение, знать, что это – любовь и жизнь, и единственный выход из ада, и надежда его, и отрада.

...В кабинете асеевском Зверев мне показывал папки с работами многочисленными своими.

И на каждой папке была обозначена им – оценка.

Четыре. Четыре с плюсом. Но чаще, конечно, – пять.

И работы здесь были – отборные.

И распоряжалась ими – конечно, Оксана Михайловна.

И увидел я на одной из толстенных папок с картинками, на виду, прямо сверху, броскую, многократно художником сделанную, в самых разных, порой непредвиденных, вариантах, всегда впечатляющую, знаменитую подпись – АЗ.

И спросил я у Зверева:

– Что это?

И ответил мне Зверев так:

– Понимаешь, это мои, как ты сам сейчас видишь, подписи. Да, они, безусловно, разные. Но – мои, и все этим сказано. А то ведь эти, – тут Зверев посмотрел куда-то за стену и рукой показал туда, – эти самые, злопыхатели, прохиндеи всякие нынешние, говорят, что я почему-то не умею, надо же так расстараться, чтобы меня подколоть, рисовать эмблемы. Нет, умею. И вот они, перед нами. Вот они, подписи. Необычные иногда, но всегда легко узнаваемые. Все – мои. Вот мое – АЗ.

В кабинете асеевском Зверев мне показывал груды тетрадей – со стихами своими, с поэмами, иногда не только большими по объему, но просто огромными, смесью лирики с эпосом, синтезом этих жанров, новаторским, смелым, авангардным, но и с почтением к нашей русской традиции, текстами необычными и уникальными, – груды общих тетрадей, исписанных им от корки до корки, размашистым, но при этом вполне разборчивым, синкопическим, быстрым почерком.

Так что здесь, в кабинете асеевском, до поры до времени, видимо, находились, в полной сохранности удивительные сокровища.

Где теперь они – кто это скажет?

Где-нибудь. У кого-нибудь – есть.

И не надо гадать об этом.

Как говаривал Ворошилов о работах своих – прорастут.

Вот и зверевские сокровища, полагаю, – давно проросли.

..Смотрит нынче с портретов, созданных в годы прежние Толей Зверевым, на людей Оксана Михайловна, на людей столетия нового, смотрит пристально, грустно, радостно, смотрит – вся в сиянии зверевской, бесконечной, вечной любви.

Смотрит так, что многие чувствуют возрастающий жар в крови.

Смотрит – муза. А может – музыка. И – поэзия. Жизнь. Судьба.

И – надежда на понимание. И внимание. И мольба.

Смотрит – живопись. Или – светопись.

Песнь. И ей-то – звучать и впредь.

Или – тайнопись. Может, летопись?

Весть, которой нельзя стареть.

* * *

.....
..Снова вспомнилось давнее чтение стихов, мое чтение в семьдесят седьмом, непростом для меня и бурном весьма году.

Один мой знакомый, случайно, устроил мне это чтение, или творческий вечер, так ведь звучит намного солиднее, в театре, который, как выяснилось из беседы с ним телефонной, деловой, как сказал он мне тогда, находился в Царицыно.

Что ж, Царицыно так Царицыно.

Можно будет и там побывать.

Место, всем в столице известное.

Всем ли? Вряд ли. Зачем скрывать?

Далеко не все приезжали москвичи когда-то – туда.

Почему? Да кто его знает! Как-то сложно живут города.

А в Царицыно сохранилась, вместе с ладом былым, старина.

Пусть там что-то все ж изменилось. Но звала туда – тишина.

Но манили – покой и воля. Но вели – и чутье, и свет.

Где избавиться вмиг от боли? Лучше места – пожалуй, нет.

И поэтому надо было оказаться в Царицыно снова.

Рай? Неужто? Да что-то вроде рая ближнего, право слово.

Пусть – остаток, пусть – отзвук рая. Пусть – фантазия, пусть – мечта.

Существуют ведь, не сгорая, удивительные места.

Сохраняются. Выживают. Изменяются – но слегка.

Долго тайны свои скрывают. И загадочны – сквозь века.

Читал я стихи свои в ту пору довольно часто.

- И, тем более, был обещан мне за чтение – гонорар.
А средства к существованию были мне очень нужны.
И решил я с собою взять, на чтение это, Зверева.
Я сказал ему:
- Толя, меня приглашают стихи читать, в театре одном, в Царицыно.
Зверев буркнул:
 - Да? Хорошо.
Я сказал ему:
 - Толя, представь, мне за чтение это – заплатят.
Зверев хмыкнул:
 - Ну, наконец-то понял кто-то, что чтение, друг мой, и не чье-нибудь там, а твое, подчеркну, особое чтение стихов, которое было, и есть, и будет всегда уникальным, неповторимым, – это тоже большая работа.
Я спросил:
 - Ты поедешь со мной?
Зверев сразу ответил:
 - Поеду.
И вот, в назначенный день, мы поехали с ним в Царицыно.
Разыскали театр, в котором предстояло стихи мне читать.
Нас встретили шумной толпой симпатичные люди, актеры. Молодые, веселые, дружные. Приветливые, оживленные.
Молодые женщины, очень интересные, – как же, актрисы! – надо марку держать им, быть привлекательными всегда.
Парни, крепкие, даже спортивные, так могло показаться, подтянутые, словно все, как один, готовые к репетициям и спектаклям.
Все актеры театра в Царицыно.
Все встречали сегодня нас.
Ну и что с того, что не знали их мы доселе, что мы их видели, сразу всех, нарядных, взволнованных и общительных, в первый раз!
Важно – то, что мы с ними встретились.
Труппа славная. Коллектив.
Так скажу я. В них был, заметил я, добрый свет, сплошной позитив.
Актеры:
 - Приехали! Здравствуйте!
Я:
 - Здравствуйте!
Зверев:
 - Привет!
Актеры:
 - Давайте знакомиться!
Назвали свои имена. Так много их было, что я, признаться, теперь их не помню.
Я – актерам:
 - Позвольте представить: Анатолий Зверев, художник.
Зверев, шурясь:
 - Да, это я.
Всполошились актеры:
 - Зверев? Это вы? Тот самый? Seriously?
Зверев – им:
 - Конечно. Тот самый.
И актеры:
 - Ну, чудеса!

Зверев – им:

– Доживем, надеюсь, мы сегодня и до чудес.

Актеры:

– Вот это встреча! Сам Алейников к нам приехал, да еще и вместе со Зверевым!

Я – актерам:

– Значит, судьба.

Привели нас актеры в театр.

И настало время читать мне актерам стихи свои.

И читал я стихи. Говорить мне приходится часто об этих, в годы прежние, чтениях. Так уж получалось. Выходит, нужны были чтения эти людям. Что с того, что меня не печатали? Наплевать на это. Подумаешь, что ни шаг, то сплошные запреты! Люди слушать умели тогда. Люди сами решали, что им было близким, а что – далеким. И стихи мои были в ту пору, героическую, орфическую, – им действительно необходимы.

И надо сказать, что слушали актеры меня – замечательно.

Внимание их оказалось – поистине изумительным.

Такого теперь, посреди затянувшегося «как бы времени», с его абсурдом и хаосом, с дичайшей подменной ценностей, с бессмысленной вседозволенностью всеобщей, давно уже нет.

А тогда, в минувшие годы, со всеми их, оптом, сложностями, жива была – человечность, и радость была жива.

И если стихи читал я собравшимся слушать людям, то в душах их оставались надолго мои слова.

После чтения моего пригласили меня и Зверева все актеры в большую комнату, где накрыт был длиннющий стол.

На столе – бутылки с вином. И закуски. Все честь по чести.

Вот какие были актеры. Было все у них – по-людски.

Мне вручили конверт с деньгами, заработанными, за чтение.

Поместились все за столом.

Все мы – выпили и закусили.

Начались потом – разговоры.

Зверев – мне:

– Хорошо ты читал. Да еще вот и заработал. Молодец, Володя! Хорэ!

Я:

– Ты знаешь, устал я, Толя. Напряжение было большим.

Зверев – мне:

– Значит, надо выпить.

И налил в стаканы вина.

И мы с ним вино это – выпили.

Один из актеров, рослый, стройный, веселый парень, был за столом – тамадой. И тосты он говорил – затейливые, забавные. И шутил. И ритм задавал особый – застолью нашему.

И в руках его появилась – гитара. И стал он петь задушевно – романсы старые. И пел он их – замечательно.

Зверев слушал его с удовольствием. И спросил его вдруг:

– Старик! Помнишь песню – «Цыпленок жареный»?

И ответил актер:

– Да, помню.

Зверев, этак лукаво:

– Спой!

И актер тогда – спел «Цыпленка».

И воскликнул Зверев:

– Бодрит!
И сказали ему актеры:
– Нарисуйте что-нибудь нам.
Зверев их оглядел. Сказал:
– Сколько вас? Поскорей считайте. И несите сюда бумагу. Чтобы столько было листов, сколько здесь, за столом, людей. И несите – чем рисовать. Всех я нынче увековечу!
И актеры разволновались. Побежали – искать бумагу. И нашли какую-то мятую, желтоватую пачку листов. И какие-то карандаши. Принесли. Положили на стол.
Зверев – стал рисовать. С прибаутками. Но на деле – вполне серьезно. Виртуозно, как и всегда. Острым взглядом посмотрит внимательно на актера или актрису, изучая лицо, – и вскоре на листе возникает рисунок. Да еще и какой! Чудесный. Так вот – всех актеров, слегка обалдевших от артистизма и порыва свободного творческого, вдохновенный художник стремительно, словно в трансе, нарисовал.
Положил карандаш на стол.
Хрипловато сказал:
– Ну, все!
И в руках у актеров – у каждого – был портрет его, нарисованный, прямо здесь, в их театре, – Зверевым.
И смотрели они на Зверева изумленно, как на волшебника.
И сказал тогда Зверев актеру-тамаде, с гитарой в руках и с портретом своим:
– Старик! Если можешь, то спой «Цыпленка»!
И воскликнул актер:
– Могу! Я сейчас!
И немедленно спел.
И Зверев был очень доволен.
И выпил вместе с актером.
И хорошее настроение было общим за нашим столом.
Так вот внес артистичный Толя в театральное наше застолье элементы перформанса, так ведь называется это действие в новом веке, с его новациями, чьи истоки – найдут в былом.
И потом провожали нас все актеры:
– Спасибо!
– До встречи!
– До свидания!
– До свидания!
Все осталось теперь – вдали.
В дымке призрачной. Там, в Царицыно. Там, совсем далеко. Далече. Там, где наши звучали речи. Где беседы мы встарь вели. Там, давно. Так давно! Когда-то. Где актеры в театре – с чудом повстречались. Оно – живое. Для людей. И – для всей земли.

* * *

.....
...Оказался я, набродившись по Москве, в чьей-то маленькой комнатке, расположенной в глубине коммунальной огромной квартиры.

Знакомый какой-то шапочный оставил меня у себя. Наверное, из сострадания. Чтобы я отдышался здесь. А сам ушел на работу.

Был измучен я до предела.

И, похоже, еще и болен.

Поднялось давление снова.

Приходилось терпеть. Лекарств никаких и в помине не было.
Я прилег на тахту. Смотрел за окно. Там шумела улица. Проезжали машины.
Слышались голоса людские. Чирикали воробьи. Там кипела жизнь.
Ну а здесь, где лежал я, не было ничего – ни еды какой-нибудь, ни воды,
шаром покати.
Пусто. Тихо. И темновато.
Лишь стекло оконное, грязное, в мутных пятнах, давно немытое.
Лишь тахта, скрипучая, старая.
Лишь тоска. И усталость. И – боль.
В голове моей поневоле зазвучала какая-то музыка.
Я достал тогда из кармана чуть измятый, вчетверо сложенный, желтоватый
бумажный листок.
Записал на нем строки стихов.
И тогда-то в дверь комнаты, где я лежал и писал стихи, постучала громко
соседка и сказала мне:
– К вам пришли!
В коридоре раздался топот.
Отворилась дверь. На пороге появился вдруг – Толя Зверев.
Он воскликнул:
– Привет, Володя!
Изумился я:
– Ты откуда? Как сумел ты найти меня?
Зверев сел на единственный стул и промолвил:
– Ты мне приснился.
– Как – приснился?
– Да так. Приснился. Мне приснилось, что ты – в беде и тебя мне надо спасать.
– Как нашел ты меня?
– По чутью. Как всегда. Я это умею.
Зверев сунул руку за пазуху и достал оттуда бутылку армянского коньяка.
Открыл бутылку. Нашел на столе граненый стакан. Сполоснул его коньяком.
Содержимое выплеснул на пол. Налил половину стакана золотистого коньяка.
Протянул мне стакан:
– Быстро выпей!
– У меня давление, Толя.
– Пей. Не будет сейчас давления.
Взял стакан я. И выпил коньяк.
– Скоро будешь совсем здоров! – произнес тоном лекаря Зверев.
И действительно, мне стало легче.
И сказал я тогда:
– Помогло!
– Ну, вот видишь! Я знаю, что делаю.
Я присел на краешек скрипнувшей старой, ржавой пружинной тахты.
Закурил. Посмотрел на Зверева.
Он сидел на стуле, как будто на коне боевом, в седле.
Я спросил его:
– Выпьешь, Толя?
Он ответил кратко:
– Потом! А тебе надо выпить снова.
И плеснул мне в стакан коньяк:
– Ну, давай! Немедленно выпей.
И пришлось мне выпить коньяк.
И себя я почувствовал лучше.

Зверев снова налил коньяк, половину стакана:
– Пей!
– Эх, была не была! – Я выпил.
Потеплело в груди. Боль прошла.
Зверев пристально посмотрел на меня – и сказал:
– Ты здоров!
И действительно, я почему-то был теперь совершенно здоров.
Я сказал:
– Ты волшебник, Толя. А еще и целитель, пожалуй.
Зверев хмыкнул:
– Что есть, то есть. А теперь тебе надо – поесть.
И – достал из своих бездонных и волшебных, наверно, карманов кусок ветчины свежайшей, буханку белого хлеба, луковицу, головку чеснока и румяное яблоко.
И сказал мне:
– Все это – съешь!
И, представьте, я все это – съел.
И стал – совершенно здоровым.
Зверев был доволен. Он хрюкнул. Произнес наконец: «Бодрит!» Улыбнулся лукаво. Полез, как заправский фокусник, ловко и привычно, к себе за пазуху. И достал оттуда – кусок ветчины, да побольше первого, и буханку белого хлеба, и большую желтую луковицу, и головку белого, твердого чеснока, да еще и два яблока. И потом, после некоей паузы, артистично, конечно, выдержанной, достал и поставил на стол две бутылки сверкнувшего золотом армянского коньяка.
И сказал:
– Теперь поедим. Вдвоем. И, понятно, выпьем.
И мы с ним поели. И выпили.
Я сказал ему:
– Знаешь, Толя, ты вернул меня к жизни. Я очень благодарен тебе за это.
Зверев сразу ответил:
– Не за что. Ты меня столько раз выручал. Да еще и спасал не единожды. Все я помню. Дружба есть дружба.
Я сказал:
– Да, дружба есть дружба.
Мы сидели вдвоем, в задрипанной и неубранной чьей-то комнатке. Говорили. О том да о сем. Как всегда. Было нам спокойно. И уютно даже. Коньяк согревал нас. Никто не мешал нам. И никто нам не досаждал. В самом деле, дружба есть дружба.
И сказал мне Зверев:
– Старик! Почитай мне стихи свои. Это надо сейчас. Почитай!
И читал я стихи. И Зверев их внимательно очень слушал. И сказал мне свое:
– Хорэ!
А потом – ушли мы куда-то. Побродить, как прежде. Вдвоем.
По московским весенним улицам, где вечерний синел окоем.
А потом – все дальше и дальше.
В глубину эпохи былой.
Той, что трудной бывала раньше.
Донимавшей ненастной мглой.
Ввысь. В грядущее. К звездам ясным.
К новым подвигам – там, вдали.
Тем, что светом сильны прекрасным.
Он вовек не уйдет с земли...

Было – что-то, чего и не выразишь так вот, сразу, не сформулируешь, потому что это и жизнь, и судьба, да и многое прочее, не случайность, а неизбежность, то, что было нам предначертано свыше, видимо, что привело, нас обоих, в итоге, к дружбе.

К дружбе – той, что дороже многих.

К дружбе – той, что осталась в памяти, несмотря на всякие сложности жизни прежней и несмотря на характеры наши, разные, и на разные наши судьбы, непрерывным, неугасающим и поныне, таким, который исцеляет и поднимает над обыденным и жестоким, надо всем, что мешает творчеству, над землей, сквозь дождь или снег, сквозь любые приметы времени, сквозь пространство, с его причудами, парадоксами и загадками, сквозь любые тайны, сквозь явь, за которой настанет правь, сквозь невзгоды, туда, где новь, ну а с нею и та любовь, что спасла меня в те года, что пришла ко мне навсегда золотым, драгоценным светом.

Дружба – дар.

И творчество – дар.

И гадайте нынче, мои современники и читатели, что да как, почему, да зачем это было. И есть – доселе.

В самом деле?

Да, в самом деле.

Было. Есть. И останется – жить.

В том грядущем, что встречи ждет.

Что когда-нибудь – вдруг придет.

И – раскинет вновь за собою звездный шлейф давнишних, волшебных, да, представьте себе, волшебных, пусть и были они земными, под ненастными небесами, небывалых порой событий, встреч, историй, в диапазоне от забавных до драматичных или даже трагичных, поскольку были годы наши минувшие, несомненно, трагичными, да, это так, это было, как данность, грубой нитью багровой прошло наши судьбы и наши надежды на желанное, лучшее время, но и радости было в них тоже предостаточно, потому что было главным для всех нас – творчество, созидательный, непрерывный, благородный, отважный труд.

Вот поэтому нас называют – андеграундом. Так уж вышло. Так сложилось. Но что же, все-таки, для теперешних поколений, этот самый, родной, привычный, наш, отечественный андеграунд?

Что ж, зажгу, словно встарь, свечу.

Разобраться попробую в этом.

Пониманья от вас хочу.

Речь – в ночи, заодно со светом.



НЕГЛАСНЫЙ МАНИФЕСТ НЕОШЕСТИДЕСЯТ- НИЧЕСТВА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ ПАВЛА ПОНОМАРЕВА
«ДНЕВНИК МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»

*Мы делали будущее сами,
отказывая себе в самом необходимом,
мучась, ошибаясь, но делали сами.
И я горд, что я не наблюдатель,
а участник в этой борьбе за будущее.*

Евгений Евтушенко.

Преждевременная автобиография, 1962 год

Этим летом в Воронеже вышла странная книга. Жанр ее не поддается определению, хотя написана она довольно традиционно, почти классически, по лучшим законам советской публицистики. Впрочем, не вполне публицистики и не совсем все-таки советской. Это книга воспоминаний. И автору всего (уже) двадцать четыре года. Это дневник молодого человека, которому в душе не меньше шестидесяти. Точнее, так: это дневник человека, *по-настоящему* родившегося в первой половине тридцатых, прошедшего мальчишкой войну, продышавшего оттепель, но живущего здесь и сейчас по тем шестидесантническим (слово Евтушенко) законам чести, совести и свободы.

В книге чуть больше сотни страниц, десятка полтора действующих лиц, три основные точки в пространстве и две — во времени. Действующие лица разные. Есть имена широко известные — Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, легенда воронежской журналистики, учитель Пономарева — Лев Ефремович Нройчин. С последним автора книги связывает многолетняя добрая дружба, свидетелем которой мне неоднократно приходилось бывать. Есть имена, знакомые узкому кругу посвященных. Немало в книге сказано о молодых воронежских поэтах. Значительное, смыслообразующее место отведено преднам.

Пространство обозначено несколько скупее. Во-первых, родная автору Лебедянь. Славный городок на верхнем Дону, родина Замя-

тина и лучших в России яблок. Во-вторых, Воронеж — транзитное место тревог и радостей, душевной и бытовой неустроенности. В-третьих, Тверь, в которой чудесным образом сошлись вчера и сегодня. Благословенное и родное — то, и ненавистное и чужое — это.

Потом — Москва, Переделкино, Сочи... Потом — за пределами этой пространственно-временной пирамиды — другая, неизвестная и едва существующая жизнь. Все главное — внутри.

Мне, другу Пономарева и одному из героев книги, странно читать этот Дневник. Никан не могу привыкнуть: это как ходить по улице, названной именем человека, которого хорошо знал. Впрочем, это непримиримая норма жизни. Чувствуешь: время идет. Как голубь по жердочке.

И именно время, кажется, является едва ли не главным героем книги. И потому, что, как ни крути, записи эти носят в первую очередь дневниковый характер. И потому, что автор их при всем довольно трагическом духовном одиночестве, при явном несовпадении с эпохой пишет все-таки об этом, о своем времени. Помните, у Рождественского: «И навечно совпало с нами // это время в календаре...»

Да, конечно, интересуется не новое, не нынешнее, но уходящее: он хочет схватить его на самом краю, удержать из последних сил и в последних руках. Его руки — последние. Эта книга как бы негласный манифест нашего нешестидесятичности.

Главное — память. Она оказывается важнее и «действительнее» реальности, а время прошедшее нужнее времени настоящего. И это на самом деле странно и удивительно: молодой человек заранее, исподволь отказывается от своей жизни *здесь* ради едва существующего *там*. Может быть, и не отказывается даже, но вступает с ним, с этим ненавистным настоящим, в противоречие. В этой связи я не устаю цитировать Цветаеву: «Быть современником — творить свое время, а не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить свое время, то есть с девятью десятками в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятками первого черновика».

Павел Пономарев — истинный современник своего времени (уж простите за тавтологию). Он живет и творит по заветам Цветаевой. И сражается, наверное, не только с *этим* временем, чтобы отразить его как щит, но в принципе с забвением и немотой во имя времени *того*. Единственного и всегдашнего. Это настоящее *лирическое сражение*: не просто запомнить, но передать неповторимую необходимость.

Ведь мы и вправду как будто помним *то* время как свое собственное. Ужас и величие сталинской эпохи, осколки дворянства, нищета, вера в социализм с человеческим лицом... Почему-то все это накрепко вошло в нас, став существом нашим, стержнем. И это не (с)только память.

С одной стороны, это так называемая чужая ностальгия, о которой я недавно говорил в «Знамени». С другой — поиск опоры, поиск хотя бы какого-нибудь постоянства. На что нам оглядываться? На нищие провинциальные девяностые? Что мы знали тогда о счастье свободы? Что знали близкие наши о возвращенной литературе, например, о том, что можно сесть в самолет и наконец увидеть Париж? Они были затравлены нуждой, а не советской властью. Не нужна была нашим родным (в отличие от нас) ни гласность, ни перестройка. «Потерянное поколение» 90-х, кстати

говоря, в этом смысле определеннее и тверже нас — им есть от чего оттолкнуться.

Застой дал многое. Как минимум — опору, которая в окружающей беспросветности стала только тверже: *и завтра будет советская власть, и послезавтра, и нет ей конца...* Впрочем, все это относительно. Тому же Пономареву (он, кстати, куда больше любит 70-е, чем 60-е, они ему понятнее и ближе) было бы чрезвычайно трудно жить в то время, даже в счастливое оттепельное. С его-то непримиримостью, нарочитой индивидуальностью и прочим.

Так что, наверное, это никакая не «чужая ностальгия», опровергаю я сам себя, да и не ностальгия вовсе. Но именно поиск опоры. Не только духовной, но и социальной, бытовой (в глубинном смысле), даже политической.

В чеховской «Чайне» Маша говорит: «А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить». И это тоже про Пономарева. В двадцать четыре года он вспоминает *свою жизнь*. Пытается понять ее, пока она не отдалилась, не истончилась, пока она живет еще и дышит и существо ее можно запечатлеть, спасти.

Да, наверное, сейчас эту книгу не так интересно читать: слишком мало прошло, время не отстоялось. Но в этом и мужество, и необходимый риск: *а я все равно, все равно скажу, потому что это должно быть сказано, непременно должно быть сказано именно сейчас...*

Василий Нацентов

СО-БЫТИЕ. ДНЕВНИК МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

(ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ)



ПАВЕЛ ПОНОМАРЕВ
Родился в 1997 году в городе Лебедяни Липецкой области. Аспирант факультета журналистики Воронежского государственного университета. Участник зимней Школы поэзии при XI Международном фестивале искусств

в Сочи, Всероссийского совещания молодых литераторов СП России в Химках, Всероссийской школы писательского мастерства в ЦФО России. Лауреат литературной премии «Справедливой России» «В поисках правды и справедливости», воронежской литературной

премии «Нольцовский край». Публиковался в газете «Литературная Россия», сетевом издании «Горный Медиа», сетевых журналах «Формаслов», «Литература», журнале «Подъем» и др. Автор книги «Со-бытие. Дневник молодого человека» (2020).

Из тверских дневников (дневник первый)

*Тверь, 15 июля 2017 года (год смерти Евтушенко).
Памятник шестидесятникам*

Первый всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок» в Твери. Организатор – тверской Дом поэзии (единственный в России) и его художественный руководитель – Андрей Дементьев.

В журнале «Юность», редактором которого был Андрей Дмитриевич в восьмидесятых, существовала рубрика с таким названием – «Зеленый листок». В ней выходили первые поэтические подборки молодых авторов (молодо-зелено) – трамплин для прыжка в большую литературу.

15 июля 2017-го произошло что-то похожее на второе явление «Зеленого листка». Два десятка молодых авторов. География участников – от Выборга до Алтайского края. Мастера: главред «Литературной газеты» Юрий Поляков, литературовед Павел Басинский, поэт Юрий Кублановский...

Вечером, гуляя по Твери (официальная программа на тот день завершилась, и мы, участники, открыли нашей прогулкой «неофициальную часть»), остановились у памятника шестидесятникам в виде полки с книгами. На корешках имена: Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава. И еще один Андрей. Чья книга – «Юность». Архитектор – Зураб Церетели. (Памятник открыт у Дома поэзии год назад – 16 июля 2016-го.)

Декламируем свои стихи – друг перед другом, подсознательно пытаюсь быть похожими на *них*. Поем «Со мною вот что происходит», «Последний троллейбус», «Мгновения»... И в это время навстречу нам – Андрей Дмитриевич с женой, Анной Давыдовой.

В прогулочной ветровке, в рубашке с расстегнутым воротником Дементьев гуляет по городу юности. Расступаемся – проходит к памятнику, облакачивается на ограду.

– Как грустно, ребята, что нет сейчас рядом моих друзей, – тянет руку к памятнику, – Роберта, Беллы, Андрея, Булата... Жени, Володи... Если бы они видели, что творится у нас в Твери!..

Стою в паре метров от Андрея Дмитриевича, также опершись на ограду, вижу его влюбленно-вдохновенные глаза – горевшие, когда мы читали свои стихи. Горевшие, когда мы слушали его:

*Мы – скаковые лошади азарта.
На нас еще немало ставят карт.
И, может быть,
Мы тяжко рухнем завтра.
Но это завтра.
А сейчас – азарт.*

Рука движется вверх, к памятнику, замирает на высоте и с этой высоты обнимает нас. Кажется, нет этого полувека, отделяющего нас от них. Кажется, они сейчас здесь, среди нас – молодые, влюбленные, смелые. А они – это мы. И молодой Дементьев среди нас – здесь и сейчас: читает с нами свои стихи.

Кажется, так будет всегда.

*Тверь, 16 июля 2017 года.
Тверской академический театр драмы*

Второй раз вне пространства и времени я почувствовал себя вечером следующего дня.

Я сидел на концерте по случаю дня рождения Андрея Дмитриевича. На сцене Валентина Бирюкова пела «Балладу о матери», а рядом в кресле был автор строк:

*– Алексей, Алешенька! Сынок! –
Словно сын ее услышать мог.*

Плакал – как плакал сорок лет назад мой прадед-фронтовик, слушая эту песню по радио.

В гостиницу нас развозили на нескольких машинах. Вышло так, что я и пара наших ребят оказались в автомобиле, перевозившем букеты, подаренные на концерте Дементьеву. Салон был усыпан цветами. В голову закралась шальная мысль – нагло, но робко спрашиваю водителя:

– А можно возьму один букет?
– Да бери любой – вон их сколько!

Выбрал лучший и, вбегая в гостиничный номер к понравившейся вчера девушке, пою:

*Я хочу, чтоб жили лебеди
И от белых стай
Мир добрее стал!*

Нечто похожее было в жизни Дементьева, когда на концерт к Галине Вишневской тот пришел без букета, надеясь «отделаться» стихами. Увидев, однако, что все гости были с цветами, он, недолго думая, выбрал из оставленных за кулисами букетов лучший – белые розы с одной красной в центре. Красную выбросил, а букет – в улученный нужный момент – преподнес приме.

Как выяснилось потом, букет принадлежал Майе Плисецкой.

* * *

Осенью 2017-го мой друг и земляк, студент Елецкого университета Слава Червяков попал на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. После лекции Андрея Дмитриевича, бывшего одним из спикеров фестиваля, Слава подошел к поэту пообщаться. Спросив, помнит ли тот Пономарева из Лебедяни, получил положительный ответ.

– А подпишете для него открытку?

«Дорогому Павлу Пономареву сердечно. А. Дементьев».

Открытку в качестве новогоднего подарка я получил от Славы уже в Лебедяни, когда мы оба приехали домой на зимние праздники.

Представляю, как грядущим летом, с этой открыткой, снова еду в Тверь – поздравлять Андрея Дмитриевича с юбилеем и вместе читать стихи.

Мечтатель...

Из тверских дневников (дневник второй)

16 июля 2018 года в Твери должен был быть грандиозный – 90-летний – юбилей Андрея Дмитриевича Дементьева. И он был – правда, без юбиляра. Потому что за двадцать дней до этого Андрея Дмитриевича не стало.

На прощание с ним, которое прошло 29 июня 2018 года в московском Концертном зале имени Чайковского, я не попал.

В Воронеж приехала Полина Корицкая, творческий вечер которой в этот день (так совпало) мы подготовили в Кубаневке.

После удавшегося вечера все вместе поехали ко мне, где на время пребывания в Воронеже остановилась Полина.

В этот день по стране (Воронеж не был исключением) гремели выпускные вечера, и теперь уже бывшие разодетые и развязные школьники сотрясали разрезанный июньский воздух.

Будет гроза.

Забравшись гудящей, неуправляемой, но безобидной, фонтанирующей стихами, молодостью и милыми глупостями толпой в мою однушку, мы завершали этот день.

За распахнутым балконом грохочут выпускные салюты и грозовые раскаты.

Вскрываем на вдруг расширившейся и опустевшей без стульев, перенесенных в большую комнату, кухне мои – наши – запасы: банки с домашними заготовками.

А те, кому стульев не хватило, расположились прямо на полу, на ковре – в тесноте, да не в обиде.

И в этой, кажется, всеобщей радости в пределах одной квартиры я, упершись локтем в письменный стол, смотрю в своем смартфоне видеозапись прощания с Дементьевым. Ребята не слышат звук этого видео. Да и не могут услышать – сижу в наушниках. Из которых доносится еле уловимая теперь интонация когда-то «от Ангары до Гудзона торжествующего баса Кобзона» (так, кажется, написал в своей книге воспоминаний поэт-песенник Николай Добронравов).

Меня, обособившегося от этого всеобщего «мы», бьют слова, сказанные на гражданской панихиде:

– Но мы надеемся продолжить нашу жизнь с тобой в другом измерении.

Охрипший баритон, сдавленный болью, болезнью и временем, срывается возле белого гроба, алых роз и траурных часовых. Почти безжизненный, отпущенный взгляд. Левая рука опирается на микрофонную стойку, в правой сжат платок:

– Прости нас.

Обессилен от невидимой, но продолжающейся каждое мгновение борьбы, Иосиф Кобзон простился с другом – поэтом Андреем Дементьевым.

За окном в Воронеже – гроза.

Тверь, 19 июля 2018 года.

Общежитие института усовершенствования учителей

Там, на прощании, были мои друзья, с которыми теперь, поздним тверским вечером, сижу в комнате общежития.

Это они рассказали мне, как прощались с поэтом его друзья, – завтра все они будут здесь, в Твери, на юбилейном концерте Дементьева.

Сережа Петров, мой одноклассник, студент Литературного института, вспомнил, как пришел в тот день в зал Чайковского. Как снисходительно посмотрел караульный у входа: проходи, мол, молодой – тут твоих много. И действительно – были там ребята, молодые и талантливые, делавшие первые шаги в литературе.

Однажды Андрей Дементьев помог этим ребятам.

Однажды – например, год назад, когда собрал их – нас – в Твери. На своей малой родине. На первом всероссийском слете молодых поэтов «Зеленый листок».

Ровно год назад, почти в том же составе, мы сидели в этой же комнате, в этом же общежитии, в этом же городе: пели, читали, любили.

Прошел год.

Я снова в Твери. Разговариваю по телефону в коридоре общежития – подальше от шумной толпы:

– Да, я смогу завтра выступить.

Это звонили из Дома поэзии. Там тоже не спят. Готовятся к завтрашнему концерту, который называется «И все-таки жизнь прекрасна!».

Тверь, 20 июля 2018 года.

Дом поэзии

Андрей Дмитриевич Дементьев ждал – и этот слет, и этот концерт.

Света Леонова, которая работает в Доме поэзии, рассказывала вчера, на посиделках в общежитии:

– Он недавно... еще до того, как попал в больницу... собрал всех нас, организаторов... в Доме. И сказал почему-то: «Если случится так, что проводить будете без меня... и в этот день по прогнозу передадут дождь... а дождя не будет... значит, я вам помогаю».

В этот день, 20 июля 2018-го, по окраинам Твери прошла гроза.

А у Дома поэзии несколько раз занимался дождь – теплый, летний, легкий. И солнечные лучи спускались по тучам на землю. Минут за пятнадцать до начала пошел ливень. Разом все облачились в дождевики, которые раздавали в Доме поэзии.

Дождевики не помогли – пригласили в Дом.

Праздник под открытым небом под угрозой.

– Будем проводить на улице. – Вдова Анна Давыдовна решительна и непреклонна. – Андрюша хотел так. Ровно в три дождь прекратится.

Так и случилось – ровно в 15:00 небо просветлело.

Потом мне рассказывали, что существует такая традиция: в дни июльских праздников, которые ежегодно проходили в Доме поэзии, ждать в Твери дождь.

Каждый раз он приходил, но к гостям был благосклонен.

Лучи припекали, слизывая влагу с моего насквозь промокшего пиджака.

Андрей Дементьев, готовясь к своему юбилейному концерту, не знал, что этот концерт пройдет без него.

И я до последнего сомневался: ехать ли?

С одной стороны, однодневное пребывание в чужой Москве и бессонная ночь то ли на Курском, то ли на Павелецком, – еще не решил, как (а главное, куда – то ли в родительский дом в Лебедев, то ли на учебу в Воронеж) возвращаться.

С другой стороны – еще раз прикосновение к уходящему времени.

Однажды я прикоснулся к нему, когда в июле 2017-го пожал его теплую руку в Твери – в Доме поэзии.

С тех пор длится этот диалог – диалог со временем.

Вера Николаевна Муромцева-Булгина озаглавила свою книгу воспоминаний о Яне (так она звала супруга, «потому что ни одна женщина его так не называла...») «Беседы с памятью».

Садясь за рабочий стол, я каждый вечер веду эти беседы.

Передо мной – только чистый лист.

Счастье видеть этот лист.

Вести эти беседы.

* * *

Я в Москве – схожу на перрон Казанского вокзала.

А вот она – моя одноклассница. Теперь студентка Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Почти москвичка (живет у тети на квартире, на северо-западе столицы).

Вчера, узнав, что в Москве меня ждет пригласительный билет на две персоны в Кремлевский дворец, позвал ее – подбил прогулять пары.

Сегодня она встречает меня на вокзале.

Едем на Красную площадь.

На Никольской улице заходим в какую-то вареничную, стилизованную под квартиру советских времен – с магнитофоном, пластинками, плакатами...

По телевизору, висящему на стене, – «Любовь и голуби»; из музыкальных колонок поют Антонов, Боярский...

– Тебе надо на «Угадай мелодию» – каждую песню узнаешь! – удивляется она моей способности схватывать слова песни по первым нотам.

– Не каждую – только советскую, – шучу, но доля правды в этой шутке преобладающая.

– Пойдем в Исторический музей? – предлагает она мне.

По дороге просит сфотографировать ее на Красной площади – рядом с памятником Жукову.

– Живешь в Москве четвертый год – неужели ни одной фотографии на фоне Кремля нет?

– Ни одной! – смеется и протягивает мне свой Polaroid, из которого через мгновение выглянет ее улыбка в каштановых локонах.

В Историческом музее выставка, посвященная Николаю II и его семье. На одной из экспозиций бросается в глаза дневниковая запись наследника престола цесаревича Николая Александровича – о предложении руки и сердца «дорогой Аликс» (будущей императрице Александре Федоровне). За ровными каллиграфическими буквами – трепет и восхищение любимой девушкой.

Разбираю эту интимную, некогда скромную, теперь – историческую запись. Перьевой ручкой написано. Чернильный след пера не спутаю с другим. Этот сувенир она подарила мне на минувший день рождения.

– Пишешь моим подарком? – спрашивает.

- Тебе дошло мое последнее письмо? Вот твоим подарком и написано. Подарок ее – перьевая ручка – со мной, во внутреннем кармане пиджака.
- Можно я зайду за открытками? – спрашивает меня, и я ощущаю, что невольное – непонятно, чем, – подчиняю ее своей воле. Но ощущение это – блаженство, и я, грешный, пытаюсь продлить его, отвечая снисходительным тоном:
- Можно, только по-быстрому. И насладившись, тотчас пытаюсь оправдать свою слабость, ухаживая за ней – подавая пальто, удерживая двери, укрывая от ветра...
- Эти открытки с видами Москвы она покупает здесь периодически, чтобы потом отправить по почте за границу. Зная адрес, но не зная адресата. В редких случаях приходит ответ: та же открытка, только вместо Москвы – Лос-Анджелес или Лондон. Там, на другой стороне земного шара, есть такой же человек, который так же готов дарить радость – неизвестно кому и заведомо зная, что радость остается безответной.

* * *

У касс Кремлевского дворца ждем, когда подойдут еще двое – вернее, четверо (у каждого пригласительный билет на двоих). Тоже участники фестиваля в Твери. Кто-то за нас замолвил – кто-то сделал нам этот подарок.

Встретившись, продвигаемся к турникетам, через Кутафью башню и Троицкий мост. Военные с металлоискателями контролируют вошедших. Очередь доходит до меня. Кладу сумку на конвейер багажного сканера, сам прохожу вперед. Контролирующий лейтенант спокойным тоном спрашивает:

- Ножичек в сумочке имеется?

Смысла отрицать нет – на мониторе просвечивается все содержимое моего маленького багажа. В том числе складной ножик для бумаг – дедовский «раритет». Вскрываю им конверты писем, а в дорогу беру для бытовых нужд. Навивный – не сообразил, что в дорогу в Кремль лучше такой «раритет» не брать.

Благо лейтенант эту мою «особенность» воспринял адекватно: проинструктировал, куда нужно пройти и кому нужно отдать.

Спускаюсь к камере хранения под Кутафью башню. У окошка в кремлевской стене встречает женщина восточной внешности и на пальцах (по-русски говорит с трудом) объясняет, что не может принять «раритет»:

- Шестая пункта читай!
- Какой шестой пункт?

Показывает рукой на стену, где, по логике, должна висеть инструкция по сдаче вещей в камеру хранения. Но там ничего не висит. Времени разбираться нет – концерт вот-вот начнется, а мне еще в очереди перед контрольно-пропускным пунктом заново стоять. Подхожу к караульному, объясняю ситуацию – мол, так и так: не принимают. Что делать?

- Можете выбросить в урну – вон там, рядом с башней.
- Может, я вам отдам – покараулите? А после концерта заберу.

Смеяться ему на посту не положено, поэтому пересиливает себя и пытается отвечать с невозмутимой интонацией:

- Лучше в урну. А то мы сменяемся каждые полчаса.

Так сложилась судьба «раритета», пять лет, с девятого класса школы, служившего мне – в память о деде.

Как теперь он, мой «раритет», там – в кремлевской урне?..

Места наши в середине партера, восемнадцатый ряд. Лучшего вида на сцену не представить. За спинами – камера с оператором (концерт запи-

сывает Первый канал). До начала еще полчаса. Есть время для «акклиматизации».

К слову, ни она, ни я ни разу не были в Кремлевском дворце.

– А я думала, что она больше, – говорит мне про сцену, – по телевизору всегда такая внушительная. А на самом деле компактная.

Сцена повторяет оформление пятилетней давности – тогда, на 85-летие Андрея Дмитриевича, здесь все было так же: теплые нежные цвета, имитация перил и лестницы, упирающейся в кулисы, – оттуда сходили «звезды», чтобы поздравить своего друга, коллегу, наставника и спеть в его честь его же стихами.

Сегодня все будет так же. Разве что голос, который семнадцать последних лет, с 2001 года, вел на «Радио России» программу «Вирази времени», – тот самый голос, голос Андрея Дементьева, читающего «Мое поколение», – будет звучать в записи:

*...И поколения такого
Случиться не может вдруг.
Но мы оставляем повод
Вспомнить наш звездный труд.
<...>
Мы – поколение совести,
Сломившее смерть и страх.
И нет печальнее повести,
Чем повесть о фронтовиках.*

Но теперь – разве что только голос.

Получается, «Вирази времени» – это семнадцать мгновений нового века. И концерт, кстати, тоже называется «Вирази времени».

Как же резко ты, время, выписало свой последний вираж... Так резко, что не успел я заметить, как и когда ты на нем пролетело.

И Евгений Евтушенко из города Талсы штата Оклахома читает с экрана на сцене Кремлевского дворца посвящение Андрею Дементьеву: все так же, так же... Разве что не в прямом эфире, а в записи.

А может, время, ты вернулось на свой изначальный вираж?

Выходит на сцену актер Дмитрий Харатьян и читает стихи Андрея Дмитриевича «Все будет так же после нас». И машинально ошибается в первой строчке: «Все будет так же *на Земле...*»

И кто-то по левую руку от меня – нет, не она – кладет мне на спину знакомую ладонь: невидимую, но теплую, уходящую на новый, отныне не достигаемый нами вираж.

А она сидит слева от меня и – тоже невидимо (но я-то вижу) – плачет.

Закончится концерт уже без нас: в середине второго акта мы спустимся в гардероб, покинем Дворец и направимся к метро – автобус до Лебедяни уходит с Павелецкого вокзала через час.

Александровский сад в преддекабрьских сумерках и чуть уловимых осенних прелях горд в своем столичном ночном одиночестве; только местами мелькнут похожие на нас пары.

Ветки метрополитена разнимут нас: она едет в свою (точнее, тетину) квартиру, я – на вокзал.

И не будет больше ничего, кроме переписки в соцсетях, планирований новых встреч (теперь уже, наверное, в Лебедяни) и – памяти.

Памяти об этом дне 15 ноября 2018 года и о том, что было до – год назад, два, три...

Пять.

Из последнего дневника

В хрипоте автобусного мотора растворяется голос «Дорожного радио», оттягивающий согласные:

– Я канн-н-нешна вер-рнус... Весь в друзьях-х и в делах...

Звук то пропадает, то появляется. Через несколько минут, когда Воронеж останется на начинающем проявляться из утреннего сумрака горизонте, звук пропадет совсем.

На горизонте поселковые дома, придорожные посадки, блестящие почками, которые рванут со дня на день, на горизонте – напившаяся после зимы земля.

9 Мая напоенная после распаренного митинга грозой вечерняя Лебедянь уронит с липы листок. Под липой будет сидеть она, и листок упадет на ее еще не тронутые колени.

И вдруг листок увидит, опережая время, все то, чего никто на земле еще не знает.

Он увидит, как я пойду, освещаемый вспышками салюта и благодарный прадеду, отцу и маме, Николаю Ивановичу Пашинцеву, Геннадию Алексеевичу Липатникову, Васе Нацентову, Сереге Рыбкину, другим – всем, всем, из кого собрался я по частице, – за этот день 9 мая 2019 года. И – за нее в этот день. Со мной.

Он увидит, как спустя три дня она промочит свои балетки под дождем, продавлившим мой зонтик, под которым по неосвященной слепой дороге мы пойдем по улице моего детства, мимо родового краснокирпичного дома с балкончиком на первом этаже – теперь не нашего; по диагонали, мимо второго краснокирпичного дома – тоже уже не нашего. И я буду рассказывать ей, как жили здесь мои бабушка и дедушка; как по той стороне улицы, мимо дома напротив, с зелеными наличниками, некогда шли Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна Булгаковы; как еще раньше прадед – тринадцатилетний мальчик – носил свои стихи в дом, что ниже по улице – к Замятиным («Оцените, Евгений Иванович! Отец сказал, вы домой приехали, и я – сразу к вам»).

И мне подумается тогда, что так должно было быть; что мне, молодому человеку с не-со-временной душой, очень нужны были дед и бабушка; что потерять их в пятнадцать лет было до крайности несправедливо.

И тогда случатся в моей жизни Рита Николаевна и Лев Ефремович.

«Вот сейчас нет и его, – подумается мне. – Но ты сейчас рядом – и как ты нужна мне! Милая, хорошая, родная. Так похожая не на это не-со-вместимое со мной сегодня, но на вчера – придуманное, помечтанное и вдруг ставшее».

Он увидит, как еще через три недели, 30 мая, я буду отрывать от своего тела оранжевую рубашку-поло, прилипшую к потной спине и груди, поднося к своему лицу и вдыхая запах ее рук.

Рук, которые завтра (он это тоже увидит) в ее побеленном подъезде (оттого наши спины как в дурацкой первоапрельской шутке) я сожму до хруста, сказав: – Не отдам.

И – попросив еще одну встречу.

Решающую – когда в голове будет играть мелодия Таривердиева и меня в опускающейся мгле прошибет озноб на лукавом первоиюньском ветру. Озноб – не от ветра, а оттого, что она скажет слова, которым я молился и не верил шесть лет – с десятого класса.

(Такой – я почти убежден – должна быть настоящая вера в Бога.)

Он это увидит.

Он увидит ее другой, не той, как шесть лет назад, а испекшей оладушки, налившей молоко и спросившей:

– Как мы дожили до того, что ты сидишь в моей квартире?

Но и увидит ее все той же – так же, как шесть лет назад, закатывающей глаза цвета тех сережек, подаренных в Воронеже.

Ну да, в Воронеже – теперь в моей квартире, на Бульваре Победы.

И на улице Карла Маркса.

И на диванчике в буфете Камерного театра, где была сделана та фотография: мой желтый в тонкую синюю полоску галстук, ее черный помпончик на босоножке, оторвавшийся позже, и – наши руки. Он увидит их сомкнутыми и заполнившими наконец все пустоты между пальцами.

Он увидит эти руки: ее – вздрогнувшую, мою – еще сильнее сжавшую ее в тот момент, когда ружье на сцене выстрелит. По-настоящему.

Он увидит, как мы пойдем, под впечатлением от премьеры и Камиля Тукаева в главной роли, размахивая этими руками. В них – новая книга, подписанная нам на двоих бабушкой-филологом. (Мы навестим ее здесь, в многоэтажке, зовущейся свечкой, напротив Камерного, – за полчаса до спектакля.)

И я скажу тогда:

– А знаешь, из-за кого на самом деле погиб Мольер?

– Из-за кого? – спросит она и закружится, зажмурится, как будто заговорит сейчас не со мной, а со всем мирозданием (она всегда так делает, когда счастлива).

– Из-за женщины.

И он – оторвавшийся от липы листок – увидит все то, что будет потом.

Увидит, как она не будет хотеть уезжать, но все равно – рано или поздно – уедет.

Увидит, как я все те дни не буду причесываться, бриться, передвигаться по квартире, противясь этому отъезду.

Увидит, как она будет звонить утром, днем, вечером, через час, через полчаса, через десять минут, через пять.

И, когда в полночной, душевной (пусть и дверь на балкон открыта), вдруг сделавшейся огромной, хотя и однокомнатной квартире, где на кухне стоят увядшие в термосе ромашки, я буду ей по телефону напевать: «Мы звездная память друг друга», – все равно не приедет.

Нет! Он увидит, увидит, как завтра, когда мы втроем – Рита Николаевна, Наташа, я, – вернувшись с кладбища, будем играть в дурака (семейный ритуал Кройчиков), у меня зазвонит телефон:

– Я сию у тебя во дворе.

– Где? В каком дворе?

– В твоём дворе – в Воронеже.

И он увидит, как я выбегу во двор, найду ее – в черной короткой юбочке, в босоножках с одним помпончиком, сидящую одну на лавочке. А на соседней будут сидеть девочки-подростки, завидующие пока нашим объятиям, нашим нескромным поцелуям, нашему счастью – счастью двух давно не видевших друг друга людей.

Дождик накрапывает – поверенный счастья. Может быть, все это – только он? Он один все это создал – эту землю, эти города, эти квартиры, этих нас. И все это придумал – только для нас.

Только придумал.

Он увидит, как я приведу ее в квартиру Кройчиков. Он увидит невозмутимое, но радостное – оттого, что мне наконец хорошо, – лицо Риты Николаевны. Он увидит, как Лев Ефремович посмотрит на нас с фотографии, висящей на кухне, – молодой (чуть постарше меня), с шевелюрой смоляных, вздымленных волос, с неистовыми глазами, выточенным подбородком, остроугольный, резкий – все-сильный, все-могущий... Соединяющий нас.

...Из старенького отцовского радио на кухне играет «Ноктюрн».

– Счастливо живи всегда, – поет Магомаев.

Он и эту песню услышит. Он посмотрит в лебедянское пегое небо, когда мы с ней, лежа на траве, будем кормить мороженым с шоколадным соусом ее шестилетнюю племянницу. Принимающую, как вся их семья, меня целиком, со всей худобой, неровностью, инакостью... Ничего легче этой травы, этого неба, этих людей не будет.

А будет третий тверской дневник, еще не опубликованный, – с нею на каждой странице.

А будут автобусы, электрички, Волга, Бежецк (там прадед лечился в госпитале от контузии).

Будет голос, разрывающий поле перед заброшенным храмом:

– Я ничего не боюсь!

Будет самая страшная ночь и самое холодное лето – с нею.

А потом листок, сорвавшийся с липы, засохнет. И донская чайка, для которой свобода – дороже всего, полетит на север. Осень пришла.

Но ничего этого еще не случилось.

Сегодня, 26 апреля 2019 года, в хрипоте автобусного мотора растворяется голос «Дорожного радио», и один из тех четырех-пяти человек, отъехавших в 6:25 от четвертой платформы автовокзала «Воронеж Центральный», – это я. Я еду домой.



Юность №1
Январь 2022

ЗОИЛ

АНТИМАТЕРИЯ

О НЕКОТОРЫХ СТРАТЕГИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА КИРИЛЛА КУТАЛОВА «АНТИТЕЛА»
(«ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ», 2021)



ИВАН РОДИОНОВ

Поэт, критик. Родился в 1986 году в г. Нотово Волгоградской области. Живет в Намышине. Автор книги «Счетчик. Путеводитель по литературе для продолжающих». Участник «Тавриды-2020» и «Мастерской Захара Прилепина — 2020». Преподает русский язык и литературу.

Перед нами пример достаточно убедительный, наглядный и показательный.

Писатель Кирилл Куталов публиковал отрывки из своего романа на Patreon, прислушивался к советам и мнениям читателей, затем книга вышла уже целиком на платформе Ridero. И пожалуйста — вот она уже в лонг-листе премии «НОС», а также в шорт-листах дополнительных номинаций той же премии. Случай в нашей литиндустрии не самый распространенный, и за автора, в одиночку борющегося за признание и читателя, можно только порадоваться.

Как сделана история? Мастеровито, крепко. Сюжет книги «Анти-тела» — злободневный и схематичный, очевидно-контурный. Ниберпанк-антиутопия. Россия, то ли альтернативное настоящее, то ли не столь отдаленное будущее. Тотальный контроль, повсеместная власть силовиков, нищета и бесправие народа. Недавно было некое Восстание (именно так, с большой буквы). Героические в своей обреченности оппозиционеры. И внезапная пандемия, не щадящая никого.

Герои, у каждого из которых своя сюжетная линия. Предопределенная. Если ушлый пособник режима — значит, поплатится. Если безвредный обыватель — попадет под жернова. Героиня, борющаяся с тоталитаризмом, столь человечна, что пожертвует собой ради непримиримого противника. А для этого самого противника в финале разблокирован путь в духе прозревающего пожарного Брэдбери.

Что еще? Набившее оскомину слово «кинематографичность» уместно здесь как никогда. Перед читателем предстают лихо перетасованные главы-«серии», герои которых чередуются. Заканчиваются такие «серии», как и положено, на самом интересном месте, а начинаются с выпукло выписанной локации-экспозиции; подробнее об этом чуть ниже.

Впрочем, оставим «сторителлинг» и перейдем к тому, как сделана книга. И здесь уже интереснее.

Жаргон и сленг, неформальный и субкультурный, — существовали всегда. Но именно сейчас, под влиянием глобализации, развития интернета, соцсетей и мем-культуры, стало происходить удивительное. Сленг начал терять «узкопрофильность» и становится все более универсальным. Причем не только в плане отношения собственно к носителям языка, что более или менее очевидно (речь блатных или неформалов была скорее кодом для опознавания «своих», тогда как интернет-сленг доступен каждому), но и в плане распределения смысловой нагрузки. Например, значения слов «маруха», «фраер», «аскать» — или совсем недавних «замочить» или «базарить» — совершенно конкретны. А вот популярные в последние несколько лет в интернет-пространстве слова каждый может наполнить своим, индивидуальным содержанием. Иными словами, нишевое уступает дорогу максимально широкому, допускающему бесчисленное количество интерпретаций, и язык приобретает черты игры в символы.

Два примера. Пару лет назад «словом года» в интернете стало прилагательное «токсичный». Это какой? А всякий. Токсичным человеком для кого-то будет человек агрессивный. Для кого-то — шумный. А для кого-то — например, язвительный. То же самое с «токсичными отношениями», или, пардон, «токсичной маскулинностью». Признак становится растяжимым, стремясь к универсальности. Человек, употребляющий слово, вкладывает в него личный смысл.

Но у «токсичного» есть хотя бы одна постоянная коннотация — это качество отрицательное. Вот более свежий пример — сленг-слово «душный» (вариант: существительное «душнила»). Тот, с которым некомфортно. Без устойчивой отрицательности понятия: душный — тот, кто не нравится конкретно тебе. Скучный или развязный, слишком бойкий или молчаливый, умник или глупец. Не обязательно злодей. Кто угодно. Все смыслы — твои.

Возникает любопытная ситуация. Слова с узким, явным значением уступают словам универсальным. Конечно, названия, термины, простые предметы и действия остаются прежними — переосмысливаются в основном признани (прилагательные, наречия и проч.). Первое становится фоном, второе — содержанием.

Сназывается все это и на искусстве, и в первую очередь — на литературе. Разумеется, на сленге историю не воздвигнуть (хотя прецеденты, скорее всего, будут).

Как же сделать текст универсальным, удобным для читателя?

Ответ прост: убрать всё якобы виньеточно-необязательное, вычурно-пафосное, а на самом деле — конкретное, слишком индивидуальное. По лекалам «Пиши-сожрачай» и прочих пособий по копирайтингу, а также по заветам курсов сценарного мастерства. Автора-рассказчика с его рецептами космического масштаба — тоже в утиль. Чтоб была голая история с простым — и потому универсальным языком, а декорации можно наполнять деталями или даже экзотикой.

Все вышесказанное не означает, что подобный подход — однозначно плохо. Нет, это прямое отражение времени и его реалий. Язык, как известно, отражает и фиксирует изменения нормы, а не директивно регламентирует ее.

Неудивительно, что успешные современные тексты часто жанрово тяготеют к притче. Или к антиутопии — одно другому несколько не проти-



воречит. Притча всегда многозначительна, а читатель или слушатель должен вынести из нее урок, желательно — свой, личный.

Роман Кирилла Куталова «Антитела» — яркий и не самый дурной образец такого подхода к литературе.

Денорации нажуются конкретными, зримыми: «район Текстильщины», «нурица в пластиковом контейнере», «порноролики с милфами», «заросли борщевика» и др. При этом они знакомы каждому, вызывают стойкие ассоциации — и могут быть заменены схожими по смыслу. Нурицу можно поменять на макарони, милф — на хентай, а изменится ли что-то? В такие денорации можно вчитать что угодно — как, впрочем, и в героев. Тучный близорукий Безухов невозможен — сыграть его Саша Петров не сможет. А вот силовика Охра (тут и ВОХР, и огр, и охра) или нелепого и трогательного Лишнева (накая замечательная, однако, говорящая фамилия — ловно придумано) — номического героя второго плана, дорастающего, как и должно было случиться, до высокого трагизма, — сыграть может каждый.

Нвинтэссенция такого подхода — отважная героиня по имени А. Названная так то ли в честь Замятина, то ли в честь Нафки (оба — мастера именно притчевой формы, кстати). Она — настолько функция, что универсальнее нкуда. Отчего же тогда лозунг «Человек — это несоответствие» (или еретик, добавил бы тот же Замятин)? Наоборот же. Максимальное соответствие запросу, наиболее полное попадание в «целевую аудиторию» — как можно более широкую. Чтобы сочувствовать персонажу, он должен быть полым, растяжимым — дабы в нем мог увидеть себя каждый. Ну или почти каждый. Например, читателю достаточно «быть индивидуальностью», не любить всяческую диктатуру и, по классике, выступать (в интернете или хотя бы в глубине души) за все хорошее против всего плохого. Все мы, за редкими исключениями, именно такие.

Это не герои-индивидуальности, не тела из плоти и крови. Это анти-тела, или, извините за оксюморон, бесплотные материи.

Названия в мире «Антител» такие говорящие, что кажется, будто вернулась эпоха классицизма и читателя нужно «просвещать, развлекать». Программа всеобщего учета и слежки называется «системой обнаружения несоответствий». Несогласованный митинг становится «несогласом». Силовики — «нибергвардейцы», они же — «Стальная фаланга». Есть и «министерство противодействия». Обыватели зовутся «физическими», государство — «Распределенной метрополией»... Это не эзопов язык, не игра в двуязычие-двоемыслие. Все это столь очевидно и так впечаталось в культурный код почти любого человека, что кажется, будто все эти слова уже слышал в каком-то ютуб-ролике. Тем более что с ними соседствуют абсолютно обыденные языковые реалии — боты, чипы, киберпсы, бункеры, VPN и так далее.

Ну и еще одно. В топку все, что кажется вычурным. Если редкие тропы, то самые очевидные. Если кто-то посмотрит на кого-то с умилением, то как на щенка или котенка. Или что-то такое: «Рот как мелкой пылью засыпан, пыль сбилась в ком и перекрыла горло» (Почему рот засыпан-то? Потому что подходящее «забит» — однокоренное со «сбилась»?)

Или вот — пример диалога.

— Ты и понятия не имеешь, во что я верил, — говорит Охр. — Молча сиди.

— В крутой рендер. Мы все в это верили.

— А ты во что веришь? В смерть? В вирус?

— В справедливость, — говорит А. — Для таких, как ты, это самое страшное, потому что справедливость для тебя значит расплату. Возмездие. А вирус — только средство. Просто на этот раз средство сильнее, чем раньше, и никакие псы вам уже не помогут. И дроны не помогут, и ничего не поможет.

Жанр, язык и время нашли друг друга.

Нирилл Нуталов в интервью говорит о Сорокине, но на ум здесь приходит, конечно, другой писатель — Дмитрий Глуховский. И его история успеха. С книгами-бестселлерами, играми и экранизациями. И с печальными, разводящими руками критиками с их стенаниями о шаблонности и бедном языке. Схожая, как сейчас говорят, стратегия.

Думается, вероятность того, что следующую книгу Нуталова тоже экранизируют, достаточно велика. Он — профессионал, общественные запросы чувствует, с потенциальными читателями взаимодействует замечательно.

Скорее всего, это будет сериал.

А в рецензиях на его будущую книгу будут встречаться слова «продвижение», «диктатура», «нейс», «инфопоток», «контент», «свобода» и «антуальность».



ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ УЖАС: ТРИ ФИЛЬМА БЕНА РИВЕРСА



ЕГОР ШЕРЕМЕТ

Родился в 1999 году в Екатеринбурге. Бачалавр искусствования, начинающий кинокритик.

Выпотрошенные внутренности заброшенного дома тонут в мареве черно-белой зернистой пленки. Запах плесени чувствуется даже по эту сторону экрана. Ощущение, будто кто-то пристально смотрит тебе в затылок, а ты не можешь повернуться, проклиная свою роль кинематографического объекта — зрителя. На одной из полусгнивших стен, украшенных осыпавшейся штукатуркой, неожиданно появляется тусклый кружок света, излучаемого ручным фонарином.

Так начинается «Старый темный дом» (*Old Dark House*, 2003), дебютный фильм Бена Риверса. Через четыре минуты, когда он закончится, зритель встанет перед выбором — вздрогнуть от возмущения или от восторга. Потому что фильм останется неизменным на всем своем протяжении, а мы так и останемся заключенными в пространстве дома, переходя из одной комнаты в другую, пристально вглядываясь в слабый свет фонаря, напрягаясь от отсутствия переменных в кинематографической формуле. Подчеркнутое отсутствие нарратива, персонажей, психологизма может удивить в хоррор-фильме, но именно в этом и заключается метод Риверса, попытавшегося создать принципиально новый вид «чистого кино» — «чистый хоррор».

Утопическая идея *Cinéma Pur* красной нитью проходила через весь XX век, от Рене Нлера и Ханса Рихтера до Джеймса Беннинга и Питера Хаттона. Желание избавить кино от заимствований из других видов искусства, будь то живопись или литература, и оставить его исключительно со своими врожденными элементами в начале века упиралось в попытку утвердить место молодого кинематографа, настоять на его самости. К концу века эксперименты с «чистым кино» служили уже другой цели — поиску и развитию новых киноформ, преодолению закостеневших за предыдущие десятилетия барьеров, в первую очередь нарративных.

Бен Риверс, всемирно известный адепт экспериментального кино, симптоматично начал свой путь с антинарративных, но подчеркнуто

жанровых короткометражных фильмов. Погрузившись в этимологию ужасного, молодой режиссер выпустил своеобразную трилогию, состоящую из вышеупомянутого «Старого темного дома», его продолжения / переосмысления / развития — фильма «Дом» (*House*, 2007) — и «Грядущей расы» (*The Coming Race*, 2006), совершенно другой на первый взгляд работы. Среди всего обширного наследия Риверса, пестрящего любопытными, пусть зачастую и не совсем удачными экспериментами, именно его первые короткометражные опыты кажутся наиболее интересными. Ловно балансируя на грани жанрового и экспериментального кинематографа, постановщик добивается изящного сплава между киноаттракционом и кинозагадкой.

«Старый темный дом» сложно назвать фильмом — ему больше к лицу сухое определение кинодокумента. Напоминая затерянную в глубинах интернета городскую легенду, культовую проклятую видеозапись, похороненную в недрах YouTube, короткий метр Риверса гордо носит имя своего «однофамильца» — «Старого темного дома» 1932 года, легендарного хоррора эпохи золотого века Universal. В дихотомии, разверзшейся между этими фильмами, кроется одна из первостепенных задач Бена Риверса — пересобрать, переосмыслить колоссальное наследие мирового кинематографа, преобразить его в новые, более подходящие XXI веку формы. «Чистое кино» требует чистых эмоций, не замутненных режиссерской / актерской рефлексией, и Риверс работает именно с ними: ощущения — вот что действительно важно в «Старом темном доме». Зачем пугать зрителя скримерами, убийствами, жуткой музыкой, если простая, максимально приближенная к реальности (но все же стоящая отдельно от нее, переработанная кинематографическими методами — монтажом, саунд-дизайном, цветокоррекцией) прогулка по заброшенному дому способна вызвать куда более сильные эмоции.

Для своей следующей работы, вновь посвященной классическому тропу фильмов ужасов — дому с призраками — и получившей соответственное название «Дом», Риверс расширяет понятийный аппарат «чистого хоррора». Помимо уже знакомой игры со светом от фонарей, вводится множество новых элементов — манабрические тени, зияющие чернотой дверные проемы, нуолевая атмосфера самого дома. Режиссер работает и с более сверхъестественными элементами, «документируя» парящую посреди комнаты свечу, медленно приоткрывающуюся дверцу погреба, полотнище, застывшее посреди комнаты, как странное рунотворное облако.

В «Доме» Риверс смелее заигрывает со зрителем, поначалу заставляя его поверить в стройную сюжетную структуру фильма, в то, что разрозненные эпизоды обязательно соберутся в единое целое. Но этого не происходит, и, что более важно, не может произойти. Ведь в рамках режиссерской концепции заключение фильма в привычные нарративные оковы нельзя считать не чем иным, как изменой. Набора subtilно пугающих виньеток, контекстуально объединенных одной локацией, вполне достаточно, чтобы погрузить зрителя в состояние психологического беспокойства, присущего ночным кошмарам. Сомнамбулическое шестиминутное блуждание по заброшенному дому болезненно раздвигает границы «чистого кино», позволяя оценить пропасть, разделяющую работы Риверса и, например, геометрические этюды Ханса Рихтера, в известной мере ставшие визитной карточкой этого направления кинематографа.

В «Грядущей расе» зритель наконец покидает клаустрофобическое пространство «дома с призраками» и оказывается у подножия неизвестной горы, полускрытой туманом. Но вдохнуть свежего горного воздуха не получится — ком в горле помешает насладиться романтическим пейзажем. Весь склон усеян безлихими человеческими фигурами, движущимися во всех направлениях, без всякой логики и порядка. Заимствуя название викторианского оккультного романа «Грядущая раса» Бульвера-Литтона, Риверс занимается не экранизацией книги, но экранизацией ощущения, которое она вызвала у англичан конца XIX века. Хтонический ужас от осознания возможности существования другого вида людей, живущих внутри гор, густо пронизывает фильм. Непонятность действий бесцельно бредущих фигур вызывает тревогу, а невозможность разглядеть их лица — сомнение в их человечности.

Как и рассмотренные выше фильмы, «Грядущая раса» строится вокруг одного из важных концептов жанра хоррор — пришествия иных, столкновения обычных людей с угрожающими их благополучному существованию пришельцами. В отличие от «Вторжения похитителей тел» Сигела и «Тумана» Карпентера, фильм Риверса не проводит ясную грань между до и после, не погружает в переживания вымышленных героев, не нагнетает саспенс неумолимого столкновения, а сразу переносит нас в самый конец, в захваченный и уже совсем другой мир. Атмосфера экзистенциального кошмара, ярко подчеркнутая зернистой пленкой, контрастом бледных тел и серых скал, по задумке режиссера обязана действовать на зрителя напрямую, без нарративных посредников. Как и предыдущие фильмы «трилогии», «Грядущая раса» может показаться односложной, педалирующей единственную идею. Но не стоит забывать, что режиссер в поисках нового метода кинематографического опыта зачастую двигается небольшими шагами, фильм за фильмом осторожно осмысляя и развивая идеи.

Конечно, многие авангардные режиссеры работали с эстетикой ужаса, в том числе, например, Тосио Мацумото и Танаши Ито, чьи короткометражные фильмы способны вызвать чувства страха и беспомощности. Однако переосмысление и кристаллизация жанровых особенностей хоррора отнюдь не являлись их целью, это были, скорее, производные элементы от более широких внежанровых экспериментов с монтажом, звуком. Бен Риверс, с другой стороны, посвятил ранний этап своего творчества именно этому — пересборке фильмов ужасов. В течение нескольких лет он снимает несколько работ, удачно ложащихся в концепцию «чистого хоррора», а затем неожиданно забрасывает свои разработки в этом направлении, все больше уходя в этнографию и магический реализм, переживающие новый подъем в конце 2010-х годов.

В чем причина столь радикальной смены курса? Почему новаторские короткометражные работы не переросли в полнометражный фильм? Связано ли это с усталостью режиссера от хоррор-тематики, ощущением творческой неудачи или с банальной усталостью? Ответ на этот вопрос мы не получим. Бен Риверс продолжает оставаться плодовитым режиссером, чьи ироничные постмодернистские опусы последних лет способны вызвать понимающую улыбку, но им вряд ли удастся приблизиться к успеху ранних «чистых хорроров». Нам остается лишь уповать на подрастающее поколение режиссеров (в числе которых можно выделить Скота Баркли), способных продолжить столь удачно начатую линию Риверса и довести проект «чистого хоррора» до его логического завершения.



КОНСТАНТИН
КУПРИЯНОВ,
СТР. 49

ИРИНА
ЖУКОВА,
СТР. 22

